

ЛАУРЕАТ
ПУЛИТЦЕРОВСКОЙ
ПРЕМИИ

ВЬЕТ ТХАНЬ НГУЕН



CoRpus

★
ПРЕДАННЫЙ
РОМАН

18+

ОТ АВТОРА МЕЖДУНАРОДНОГО
БЕСТСЕЛЛЕРА «СОЧУВСТВУЮЩИЙ»

Сочувствующий

Вьет Тхань Нгуен

Преданный

«Издательство АСТ»

2021

УДК 21.111-31(73)
ББК 84(7Сое)-44

Нгуен В.

Преданный / В. Нгуен — «Издательство АСТ»,
2021 — (Сочувствующий)

ISBN 978-5-17-154667-0

В 2016 году роман Вьет Тхань Нгуена «Сочувствующий» стал лауреатом Пулитцеровской премии. «Преданный» продолжает историю того же героя, бывшего шпиона, так некстати обремененного совестью и моральными принципами. В Париже 1980-х его ждет изысканное общество интеллектуалов, работа в мрачном криминальном подполье и трагическое противоречие между двумя самыми дорогими ему людьми, разрешить которое, вероятно, может одна лишь смерть – вопрос только, чья именно и при каких обстоятельствах. В формате PDF А4 сохранён издательский дизайн.

УДК 21.111-31(73)
ББК 84(7Сое)-44

ISBN 978-5-17-154667-0

© Нгуен В., 2021
© Издательство АСТ, 2021

Содержание

Пролог. Мы	6
Часть первая. Я	8
Глава 1	8
Глава 2	18
Глава 3	29
Глава 4	40
Глава 5	49
Конец ознакомительного фрагмента.	52

Вьет Тхань Нгуен Преданный

© 2021 by Viet Thanh Nguyen

© Christopher Moisan, cover illustration

© А. Завозова, перевод на русский язык, 2023

© А. Бондаренко, художественное оформление, макет, 2023

© ООО «Издательство Аст», 2023

Издательство CORPUS ®

* * *

Посвящается Симоне

Ничего нет реальнее ничего.

Ритхи Пань, Кристоф Батай

«Уничтожение. История человека, который пережил режим красных кхмеров и встретился лицом к лицу со своим прошлым и с надзирателем полей смерти»

Пролог. Мы

Мы были нежеланными, ненужными, незаметными – невидимками для всех, кроме нас самих. Ничтожнее ничего, и, ничего не видя, мы слепо теснились в темном чреве нашего ковчега, сто пятьдесят потеющих в пространстве, предназначенном не для млекопитающих, а для рыб морских. Пока волны швыряли нас из стороны в сторону, мы говорили на своих наречиях – то есть одни молились, другие сыпали проклятиями. Когда волны, переменив свое движение, затрясли наше судно еще сильнее, один затесавшийся среди нас моряк шепнул: *теперь мы в океане*. Провертевшись множество часов по реке, эстуарию и протокам, мы покинули родину.

Штурман отпер крышку люка и позвал нас на палубу ковчега, который равнодушный мир низвел бы до обычной лодки. Кривая ухмылка месяца показала нам, что мы одни среди этого водного мира. На мгновение взгляды наши помутились от радости, пока от океанского волнения у нас не помутилось кое-что другое. Нас выворачивало наизнанку – на палубу и друг на друга, и даже после того, как в нас ничего не осталось, мы все продолжали задыхаться и срыгивать, и нам было тошно от нашей тошноты. Так мы провели первую ночь в открытом море, дрожа от океанского бриза.

Занялась заря, и со всех сторон мы видели лишь бесконечно удаляющийся горизонт. День выдался жарким – ни тени, ни отдыха, еды было по куску, воды по глотку, конец нашего пути неизвестен, припасы ограничены. Но, съев даже такую малость, мы все равно оставили свой человеческий след по всей палубе и к вечеру утопали в собственной скверне. В сумерках мы заметили на горизонте корабль и сорвали голоса от крика. Но корабль так и не приблизился.

На третий день нам повстречалось грузовое судно, рассекавшее пустынную водную ширь, драмадер с возвышавшимся над кормой мостиком, с моряками на палубе. Мы кричали, прыгали, махали руками. Но судно проплыло мимо, задев нас лишь волновым следом. На четвертый и на пятый день появились еще два грузовых судна, каждое ближе прежнего, каждое – под новым флагом. Моряки показывали на нас пальцами, но сколько бы мы ни просили, сколько ни умоляли, поднимая повыше детей, корабли не замедлили хода и не изменили курса.

На пятый день умер первый ребенок, и прежде чем мы отдали ее тело волнам, священник прочел молитву. На шестой день умер мальчик. Одни стали молиться Богу еще усерднее, другие же усомнились в Его существовании, одни, не верившие в Него, уверовали, другие же неверившие разуверились еще сильнее. Отец умершего ребенка возопил: Господи, почему Ты так с нами поступаешь?

И тогда мы постигли ответ на это вечное «почему?», которым задается все человечество.

Ответ, и был, и есть, очень прост: *а почему нет-то?*

Прежде чем взойти на борт нашего ковчега, мы были незнакомцами, но теперь стали друг другу ближе возлюбленных, мы все барахтались в собственных же отходах – с зелеными лицами, с кожей, изъеденной солью и прожаренной солнцем до одинаковой корочки. Почти все мы покинули родину потому, что пришедшие к власти коммунисты нарекли нас марионетками, или псевдопацифистами, или буржуазными националистами, или декадентствующими реакционерами, или идеологами ложного сознания, или потому, что с кем-то из вышеперечисленных мы состояли в родстве. Еще с нами были гадалка, геомант, монах, священник и по крайней мере одна проститутка, которую оплевал ее сосед-китаец, приговаривая: *а эта шлюха почему с нами?*

Нежелательные есть даже среди нежелательных, и некоторые из нас могли над этим лишь посмеяться.

Нахмурившись, проститутка спросила: *чего надо?*

Мы, лишние люди, были столько лишены. Нам надо было поесть, попить и раскрыть над головой зонтик от солнца, хотя и обычный зонт сойдет тоже. Нам надо было одеться, помыться

в ванной и сходить в туалет, пусть и в такой, где надо корячиться над дыркой, потому что корячиться на земле куда безопаснее и не так позорно, как цепляясь за край раскачивающейся лодки и свесив тыл за борт. Нам надо было дождя, туч и дельфинов. Нам надо было, чтобы днем в жару было попрохладнее, а ночью, в лютый холод, – потеплее. Нам надо было примерно понимать, когда мы доплывем. Нам надо было прибыть живыми. Нам надо было, чтобы беспощадное солнце перестало нас поджаривать. Нам надо было смотреть телевизор, кино, слушать музыку – все что угодно, чтобы время шло побыстрее. Нам надо было мира, любви и справедливости, но только не для наших врагов, которым надо было гореть в аду, желательно целую вечность. Нам надо было, чтобы все были независимы и свободны, кроме коммунистов, их всех следовало отправить на перевоспитание, желательно пожизненное. Нам надо было, чтобы великодушные вожди были представителями народа, под которым мы подразумевали нас, а не тех, других, кем бы они ни были. Нам надо было, чтобы у всех были равные возможности, хотя, если так выйдет, что нам достанется больше, чем соседу, мы это как-нибудь переживем. Нам надо было, чтобы новая революция отменила революцию, которую нам пришлось пережить. В общем, нам надо было жить так, чтобы нам больше ничего не было надо!

А вот чего нам точно совсем не было надо, так это бури, но именно ее мы получили на седьмой день. И верующие снова возопили: Господи, помоги! А неверующие закричали: ну и сволочь же ты, Господи! Но и верующим, и неверующим было не избежать бури, накрывшей собой горизонт и подползавшей все ближе и ближе. Носившийся в испуге ветер набирал силу, волны становились все выше, а с ними и наш ковчег набирал скорость и высоту. Молния осветила темные складки штормовых туч, и гром заглушил наш коллективный стон. Потоки дождя низверглись на нас, и пока волны вздымали наш ковчег все выше и выше, верующие молились, неверующие чертыхались, но и те и другие плакали. Затем наш ковчег достиг пика и на один бесконечный миг повис на заснеженном гребне над водною бездной. Глядя вниз, на ожидавшую нас глубокую, виноцветную долину, мы лишь две вещи знали наверняка. Первое – мы совершенно точно умрем! И второе – мы почти совершенно точно выживем!

Да, мы были в этом уверены. *Мы – останемся – в живых!*

И тут мы с воплями рухнули в бездну.

Часть первая. Я

Глава 1

Может, я больше не предатель и не перебежчик, но я был и остаюсь падалью. А кто же я, если не падаль, с двумя-то дырками в голове, откуда капают черные чернила, которыми я это все пишу? Престранное это состояние – я мертв и все же пишу эти строки, сидя у себя в комнатухе, в «Райском саду». Теперь я, выходит, прозаик-призрак, а раз так, то нет ничего проще и ничего прозаичнее, чем обмакнуть перо в чернила, текущие из двойных моих дырок – одну проделал я сам, другую Бон, мой лучший друг и кровный брат. Опустит пистолет, Бон. Убить меня дважды не получится.

Хотя, может, и получится. Я ведь был и остаюсь человеком с двумя лицами и двумя сознаниями, как знать, вдруг что-то одно и уцелело. С двумя-то сознаниями я на все гляжу с двух сторон, но если прежде я льстил себе, считая это талантом, то теперь я понял, что это – проклятие. Кто он, человек с двумя сознаниями, если не мутант? А то и монстр. Да, сознаюсь! Я не один, я двое. Не только я, но и ты. Это не только про меня, но и про нас.

Ты спросишь, как же нас теперь называть, ведь мы так долго пробыли безымянными. Сам не знаю, стоит ли говорить тебе правду, это ведь не в моих привычках. Я состою из дурных привычек, и едва меня отучат от какой-нибудь – я никогда не расстаюсь с ними по собственному желанию, – как я тотчас же, распустив слезы и слюни, принимаюсь за старое.

Взять, например, вот эти слова. Я их пишу, а ведь нет привычки хуже писательства. Пока все остальные выжимают, что могут, из своей жизни, вкалывают ради зарплаты, набираются витамина D, греясь на солнышке, охотятся на себе подобных, чтобы размножиться или просто почпокаться, и отказываются думать о смерти, я сижу с пером и бумагой в своем райском уголке, чахну и бледнею, из ушей у меня валит пар отчаяния, и я обливаюсь потом печали.

Я могу сказать тебе, на какое имя у меня паспорт – ЗАНЬ ВО. Я взял это имя перед тем, как приехать сюда, в Париж, или, как нас учили его называть наши французские хозяева, Город Огней. Мы, Бон и я, прилетели в аэропорт ночью, рейсом из Джакарты. Из самолета мы выходили с чувством огромного облегчения, ведь мы добрались до убежища, до влажной мечты всех беженцев, тем более таких, которые были беженцами не единожды, не дважды, а трижды: в 1954-м, когда мне было девять, в 1975-м, когда я был молод и относительно красив, и в 1979-м, всего два года назад. Повезет ли нам на третий раз, как любят говорить американцы? Вздыхнув, Бон надвинул на глаза выданную нам в самолете маску для сна. Давай просто надеяться, что Франция окажется лучше Америки.

Весьма опрометчивая надежда, если судить о стране по сотрудникам погранконтроля. Человек, изучавший мой паспорт, глядел то на мою фотографию, то на меня сквозь ничего не выражавшую маску охранника. Его бледное лицо перекосило оттого, что кто-то пустил меня, человека без верхней губы и усов, которые могли бы прикрыть ее отсутствие, в его любимую страну. Вы вьетнамец, сказал этот белый человек, – вот первое, что я услышал, впервые оказавшись на родине отца.

Да! Меня зовут Зань Во! Я одарил пограничника своим самым французским акцентом и самой льстивой улыбкой, втираясь к нему в доверие буквально на терке. Но мой отец – француз. Может быть, тогда и я тоже француз?

Его бюрократический мозг обработал это заявление, и когда он наконец-то улыбнулся, я подумал: ага! Вот мне и удалось пошутить на французском! Но он ответил: нет... вы... точно... не... француз. С таким-то... именем. Затем он шлепнул мне в паспорт дату прибытия 18/07/81 и подтолкнул паспорт ко мне обратно, уже глядя через мое плечо на следующего в очереди.

Миновав паспортный контроль, мы встретились с Боном. Наконец-то мы ступили на землю Галлии – так отец в приходской школе учил меня называть Францию. И кстати, как уместно, что аэропорт назван в честь Шарля де Голля, величайшего из великих французов, память о которых еще свежа. Герой, освободивший Францию от нацистов, не переставая при этом поработать нас, вьетнамцев. Ох уж эти противоречия! Вечный запашок из подмышек человечества. От него никому не избавиться – ни даже американцам или вьетнамцам, которые моются ежедневно, ни французам, которые моются не очень ежедневно. Не важно, какой мы национальности, нам всем приходится привыкать к запаху собственных противоречий.

Что с тобой? – спросил Бон. Снова плачешь?

Я не плачу, всхлипнул я. Накатило просто, наконец-то я дома.

Бон уже привык к тому, что я могу расплакаться на пустом месте. Он вздохнул и взял меня за руку. В другой руке он держал свой багаж, дешевую спортивную сумку – подарок ООН. Не то что мой модный кожаный саквояж, который Клод, мой старый наставник, подарил мне в честь окончания Оксидентал-колледжа, что в Южной Калифорнии. Мой старик подарил мне точно такой же, когда я окончил Филипс-Экзетер и уехал учиться в Йель, сказал Клод, пустив слезу. Хоть он и был агентом ЦРУ и зарабатывал на жизнь допросами и убийствами, но ему случалось проявлять сентиментальность, когда речь шла о нашей дружбе или дорогих мужских аксессуарах. Все из-за той же ностальгии и я не расставался с этим кожаным саквояжем. Он был не очень большой, меньше, чем сумка Бона, и все равно оставался полупустым. У нас, как и у большинства беженцев, почти не было вещей, даже если наши сумки и были под завязку набиты мечтами и фантазиями, травмами и болью, печалью и потерями и, разумеется, призраками. Призраки ведь ничего не весят, а значит, их с собой можно увезти бесчисленное количество.

Мы были единственными пассажирами в зоне выдачи багажа, не катившими за собой чемоданы, не толкавшими тележки, нагруженные сумками и туристическими ожиданиями. Мы не были ни туристами, ни экспатами, ни возвращенцами, ни дипломатами, ни бизнесменами, мы не принадлежали ни к одному классу приличных путешественников. Нет, мы были беженцами, и одного нашего перелета в машине времени под названием «международный лайнер» не хватило, чтобы заслонить собой тот год, что мы промаялись в исправительном лагере, или те два года, которые мы провели в лагере для беженцев на индонезийском острове Галанг. После лагерных свечей, грязи, бамбука и тростника нас сбивали с толку яркие огни, сталь, стекло и плитки аэропорта, и мы шагали медленно, наобум, врезаясь в других пассажиров в поисках выхода. Наконец мы его отыскали, перед нами разъехались двери, и мы оказались под высоченным потолком зоны международных прилетов, где нас с головы до ног оглядела толпа выжидающих лиц.

Меня окликнула какая-то женщина. Моя тетка, а точнее, женщина, которая притворялась моей теткой. Пока я был шпионом-коммунистом, внедренным в пожухлые ряды бежавшей в США южновьетнамской армии, я время от времени слал ей письма, в которых для виду жаловался на тяготы иммигрантской жизни, но на самом деле в этих письмах я невидимыми чернилами писал ей закодированные секретные сообщения о коварных происках некоторых элементов этой самой армии, надеявшихся спасти нашу родину от коммунистической власти. В качестве общего шифра мы использовали «Азиатский коммунизм и тягу к разрушению повосточному» Ричарда Хедда, и ее задачей было передавать мои сообщения Ману, нашему с Боном кровному брату. Я приветствовал ее с облегчением и тревогой, ведь она знала, что Бон не знал и никогда не должен был узнать о том, что Ман был шпионом – как и я. Он был моим куратором, и если в исправительном лагере он в конце концов и превратился в моего мучителя, что же меня, человека с двумя сознаниями, тут не устраивало? И если моя тетка не была мне по-настоящему теткой, ну не идеальная ли это ситуация для человека с двумя лицами?

На самом деле она приходилась теткой Ману и выглядела точно так, как она и описала себя в последнем письме: высокая, худая, с черными как смоль волосами. На этом заканчивалось ее сходство с выдуманной мной образ: женщины средних лет, сутулой от вечного сидения за швейной машинкой и рабски преданной делу революции. Ближайшей родней этой женщины – если судить по форме ее тела и по тому, что она не выпускала из рук, – была сигарета. Она источала дым и самоуверенность и, стоя на агрессивно высоких каблуках, была одного со мной роста, но казалась еще выше из-за своей худобы, серого вязаного платья по фигуре и конусообразной прически – ее форменный, ежедневный образ. Я знал, что ей уже за пятьдесят, но на вид ей можно было дать и около сорока, все благодаря французскому стилю и половине азиатских генов, из-за которых время было над ней не властно.

Ну и ну! Она схватила меня за плечи и, причмокнув губами, поочередно коснулась щеками моих щек – очаровательное французское приветствие, которого мне никогда не передавало от французов на родине, в том числе и от моего француза-отца. Вам обоим нужна новая одежда. И новые стрижки!

Да, она точно была француженкой.

Я представил ее Бону по-французски, но он отвечал на вьетнамском. У него, как и у меня, было лицейское образование, но он ненавидел французов и сюда поехал только ради меня. Да, французы когда-то дали ему стипендию, но больше он от них ничего хорошего не видел – разве что ездил по спроектированным ими дорогам, но трудно быть благодарным за рабский труд крестьян, таких же, как сам Бон, которые эти дороги строили. Пока мы шли к стоянке такси, тетка перешла на вьетнамский, спрашивая о наших скитаниях и страданиях на чистейшей, классической вариации нашего языка, которая в ходу у ханойских интеллектуалов. Бон молчал. В его собственном наречии смешались диалекты сельского севера, откуда были родом наши семьи, и сельского юга сайгонских окраин. Там обосновались его родители после нашего католического исхода с севера в пятьдесят четвертом, первого нашего опыта беженства. Он молчал, либо стыдясь своего выговора, либо – вероятнее всего – потому, что кипел от злости. Каждый ханоец мог оказаться коммунистом, а каждый, кто мог оказаться коммунистом, несомненно, им и был, по крайней мере по мнению такого яркого антикоммуниста, как Бон. Он не испытывал благодарности за тот единственный дар, который достался нам от наших коммунистов-тюремщиков, за урок о том, что все, что нас не убивает, делает нас сильнее. При таком раскладе мы с Боном теперь были сверхлюди.

Кем ты работаешь? – наконец спросил он, когда мы устроились на заднем сиденье такси, по обе стороны от моей тетки.

Тетка взглянула на меня с неммым укором и сказала: вижу, племянник ничего обо мне не рассказывал. Я редактор.

Редактор? – чуть было не вырвалось у меня, но я вовремя опомнился, потому что мне ведь полагалось знать, кем работает моя тетка. Когда я искал спонсора для нашего отъезда из лагеря беженцев, я написал ей – в этот раз без всяких шифров – просто потому, что не знал других неамериканцев. Она, скорее всего, сообщит о моем приезде Ману, но лучше так, чем возвращаться в Америку, где я так и не попался за совершенные мной преступления и не гордился этим.

Она назвала издательство, о котором я никогда не слышал. Я зарабатываю на жизнь книгами, сказала она. В основном художественной литературой и философией.

Бон издал горловой звук, означавший, что читать он ничего не читает, кроме армейских уставов, желтой прессы и записок, которые я вешаю на дверь холодильника. Будь моя тетка и в самом деле швеей, ему с ней было бы куда проще, и я порадовался, что ничего не стал рассказывать о ней Бону.

Я хочу услышать обо всем, что вы пережили, сказала тетка. О перевоспитании и о лагере беженцев. Я, кроме вас, других перевоспитанных не знаю.

Тетя, милая, давайте не сегодня, сказал я. Я не рассказывал ей о признании, которое меня вынудили написать в лагере, – теперь оно было спрятано под фальшивым дном моего саквояжа вместе с пожелтевшим и разваливающимся на куски экземпляром хеддовской книги. Сам не знаю, зачем я вообще прятал это признание, ведь Бон, тот, кому его точно не стоило читать, проявлял к нему ноль интереса. В процессе перевоспитания его, как и меня, под пытками заставляли писать и переписывать свое признание, но он, в отличие от меня, не знал, что комиссаром в лагере был Ман, его кровный брат. Да и откуда ему это было знать, ведь у комиссара не было лица? Зато, говорил Бон, он точно знал, что выбитое под пытками признание было сплошным враньем. Как и большинство людей, он верил, что лжи, даже повторенной много раз, никогда не стать правдой. Я, как и мой отец-священник, придерживался противоположной точки зрения.

Квартира моей тетки находилась в Одиннадцатом округе, бок о бок с Бастилией, откуда и началась французская революция. Место Бастилии в истории отмечено колонной, мимо которой мы проехали в темноте. Раз уж я был когда-то и коммунистом, и революционером, значит, и меня тоже породило это событие, обезглавившее аристократию с неумолимостью гильотины. Кончилось шоссе, начался город, и вот теперь я и вправду понял, что я во Франции, и даже лучше того – в Париже, с его узкими улочками и однообразными домами одинаковой высоты, не говоря уже об очаровательных вывесках, знакомых мне по открыткам и фильмам вроде «Нежной Ирмы», которую я смотрел в американском кинотеатре вскоре после того, как приехал учиться в Лос-Анджелес. Мне еще предстоит узнать, что в Париже очаровательно все, даже местные проститутки, и что очарователен он всегда: и по воскресеньям, и ранним утром, и после обеда, и даже в августе, когда все закрыто.

Следующую неделю или две я буду без устали повторять это слово – «очаровательный». Ни мою родину, ни Америку очаровательными не назовешь. Слишком это сдержанное слово для такой знойной страны, как моя, для моих пламенных сограждан. Мы вызываем либо страсть, либо отвращение, но очаровывать – не очаровываем. Что до Америки, то взять хотя бы кока-колу. Вот уж действительно что-то с чем-то, этот эликсир, само воплощение наркотической, кариесной сладости капитализма, и пусть она сколько угодно искрится на языке, пользы от нее не будет. Но это все не очаровывает, не так, как свежесваренный черный кофе в чашечке-наперстке на миниатюрном блюдечке с игрушечной ложечкой, который тебе приносит официант, столь же уверенный в важности своего дела, как какой-нибудь банкир или коллекционер произведений искусства.

Американцам принадлежит Голливуд, весь этот шум, бравада, щедрые декольте и ковбойские шляпы, зато французы развернули борьбу за шарм. Это угадывалось в мелочах, как если бы вся Франция была сделана по эскизам Ива Сен-Лорана – в самом настоящем берете на голове у нашего водителя, в названии улицы, где жила тетка, – рю Сен-Ришар, в облупившейся голубой краске на металлической двери ее подъезда, в гулкой темноте коридора и перегоревших лампочках, в узкой деревянной лестнице, которая вела на четвертый этаж, в теткин квартиру.

Ничего объективно очаровательного во всем этом, кроме разве что берета, не было, вот оно, доказательство того, какое незаслуженно огромное преимущество появлялось у французов, когда они пускали в ход свое обаяние – по крайней мере, в отношении людей вроде меня, которых они, невзирая на наше упорное сопротивление, почти полностью колонизировали. Я говорю «почти», потому что, пока я очарованно пыхтел, карабкаясь вверх по лестнице, какой-то крошечный, рептильный участок моего мозга – мой внутренний туземец-дикарь – противостоял этим чарам, понимая, что они такое на самом деле – обаяние оков. Из-за этого самого чувства у меня дыхание сперло при виде стройного багета, украсившего собой теткин обеденный стол. О, багет! Символ Франции, а значит – символ французского колониализма! Так гово-

рил один я. Но другой я тотчас же ему возражал: ах, багет! Символ того, как мы, вьетнамцы, освоили французскую культуру! Ведь мы печем отличнейшие багеты, а бань ми, которые мы делаем из этих багетов, куда вкуснее, куда оригинальнее, чем сэндвичи, которые из них сооружают французы. Сей диалектический багет в обществе огуречного салата с рисовым уксусом, кастрюльки куриного карри с картофелем и морковью, бутылки красного вина и появившегося под занавес карамельного флана в темной лужице жженого сахара и составлял трапезу, которую нам приготовила тетка. Как же я истосковался по этим блюдам, да по каким угодно блюдам! Мечты о еде не отпускали меня все эти бесконечные месяцы, что я провел в исправительном лагере, близ центра ада, а затем в его спальном районе – лагере для беженцев, где лучшее, что можно было сказать о нашей еде, так это то, что ее было мало, а худшее – что кормили нас тухлятиной.

Отец научил меня готовить вьетнамскую еду, сказала тетка, накладывая нам карри. Мой отец, как и вы, был солдатом, но кто его теперь вспомнит.

От одного упоминания об отце у меня чуть сердце не остановилось. Я приехал на родину своего отца, патриарха, который меня отверг. Изменилась бы моя жизнь, назови он меня сыном, а мою мать – пусть и не женой, но хотя бы любовницей? Я и жаждал его любви, и ненавидел себя за то, что мои чувства к нему не ограничиваются одним презрением.

Французы отправили моего отца на Первую мировую, продолжала тем временем тетка. Мы с Бонем ерзали от нетерпения, дожидаясь, когда же она возьмет ложку или оторвет кусок багета, тем самым просигналив нам, что уже можно наброситься на столь призывно разложенную перед нами еду. Ему было восемнадцать лет, и его, как и десятки тысяч других солдат, перебросили в метрополию напрямую из тропического Индокитая. Париж он, правда, толком увидел уже после войны. А домой так и не вернулся. Урна с его прахом стоит у меня в спальне, на комод.

Нет ничего печальнее, чем жизнь вдали от дома, сказал бедняга Бон, и его рука, лежавшая на скатерти, задрожала. Он за всю жизнь не сказал ничего даже отдаленно философского, однако эмиграция и трагическая потеря жены и сына сделали из Бона мыслителя. Отвези его прах на родину, сказал он. Только тогда дух твоего отца обретет истинный покой.

Можно было подумать, что от таких разговоров у нас испортится аппетит, однако нам с Бонем отчаянно хотелось съесть хоть что-то, кроме пайков, которые беженцам выдавала какая-то неправительственная организация, только чтобы те не померли с голоду, но не более того. А еще у французов с вьетнамцами общая любовь к меланхолии и философии, которой маниакально оптимистичные американцы никогда не разделяли. Типичный американец предпочитает консервированную версию философии, закатанную в инструкции и справочники, но вьетнамцы и французы, даже самые среднестатистические, ценят любовь к знаниям.

Поэтому мы разговаривали за едой и, что тоже немаловажно, пили, курили и безоглядно думали, потакая всем трем моим дурным привычкам, которых меня лишило перевоспитание. Чтобы мы могли свободно предаваться этим привычкам, моя тетка не только откупоривала одну бутылку красного вина за другой, но и выставила на стол марокканскую чайную жестянку с двумя видами сигарет – с гашишем и без. Даже слово «гашиш» звучит очаровательно, ну или по крайней мере экзотично, по сравнению-то с «марихуаной», народным американским наркотиком, хоть оба их и делают из одного растения. Марихуану курят хиппи и подростки, ее символ – вечно немодная группа под названием *Grateful Dead*, которую Ив Сен-Лоран поставил бы к стенке за то, что из-за них все стали носить футболки в цветных разводах. Гашиш же – синоним Леванта и арабских базаров, чего-то иноземного и волнующего, декадентского и аристократического. Это в Азии можно попробовать марихуану, но на Востоке ты куришь гашиш.

Даже Бон, и тот затянулся крепкой сигареткой, и вот тогда-то, утолив голод, расслабив тело и разум и заметно офранцузившись в нашем сытом посткулинарном блаженстве, которое

для нас, беженцев, не хуже посткоитального, Бон заметил стоявшую на каминной полке фотографию в рамочке.

Это что – он вскочил, пошатнулся, еле удержав равновесие, и прошагал по бахромке персидского коврика к камину. Это – он ткнул в фотографию пальцем, – это он.

Я сказал тетке, что у них, похоже, есть какой-то общий знакомый, а она ответила: даже не знаю какой.

Бон обернулся к нам, весь красный от ярости. Я вам сейчас скажу какой. Сатана!

Я вскочил с места. Если с нами сатана, я тоже хотел на него взглянуть! Однако при ближайшем рассмотрении... Это не сатана, сказал я, увидев раскрашенное фото человека в самом расцвете лет – седого, с бородкой клинышком и нимбом прозрачного света над головой. Это Хо Ши Мин.

Когда-то я был таким же убежденным коммунистом, как он, и продолжал свое дело даже в Америке, где я душил заграничную контрреволюцию, чтобы поддержать революцию дома. Я старательно скрывал это от всех, и в особенности от Бона. О моих коммунистических симпатиях знали только тетка и ее племянник Ман. Он, Бон и я были кровными братьями, тремя мушкетерами, хотя в историю мы, наверное, войдем как три брата-акробата. Мы с Маном были шпионами, тайными подрывниками антикоммунистического движения, столь милого сердцу Бона, и из-за этих тайн мы вечно попадали в самые разные передрыги, откуда всегда спасались только через чей-нибудь труп. Бон до сих пор верил, что Ман погиб и что я такой же ярый антикоммунист, как и он сам, ведь он видел, как меня искалечили в исправительном лагере – так, по его мнению, коммунисты обходятся только со своими врагами. Я же не был врагом коммунизма, я был просто человеком с одной опасной для жизни страстишкой – сочувствием к настоящим врагам коммунизма, и американцам в том числе. Зато исправительный лагерь исправил мое отношение к ярым коммунистам, я понял, что они ничем не отличаются от ярых капиталистов: для них не существует полутонов. Сочувствовать врагу – все равно что сочувствовать дьяволу, это уже само по себе предательство. Бон, благочестивый католик и убежденный антикоммунист, разумеется, так и думал. Я не знал никого, кто убил бы больше коммунистов, чем он, и хотя Бон, конечно, понимал, что кого-то убил по ошибке, просто приняв за коммуниста, но все равно верил, что его простит и Господь, и Госпожа История.

Теперь же он наставил указательный палец на мою тетку и сказал: так ты, значит, коммунистка? Я непроизвольно ухватил его за руку, понимая, что, будь у него сейчас под пальцем спусковой крючок, тетка уже лежала бы мертвой. Бон оттолкнул мою руку, а тетка вскинула бровь и закурила сигарету, обычную, неугашенную.

Я не коммунистка, я так, попутчица, сказала она. Я не настолько о себе высокого мнения, чтобы зваться настоящей революционеркой. Сочувствующая, вот и все. О своей политической ориентации она говорила так бесстрастно, как умеют одни французы, люди настолько отмороженные, что им почти не нужны кондиционеры, без которых жить не могут американцы. Я же, как и мой отец, скорее троцкистка, чем сталинистка. Верю во власть народа и в мировую революцию, а не в партию, которая всем заправляет от имени целой страны. Верю в права человека и всеобщее равенство, а не в коллективизм и пролетарскую революцию.

Тогда зачем ты держишь дома портрет сатаны?

Потому что никакой он не сатана, а великий патриот. Когда он жил в Париже, то так себя и называл – Нгуен-патриот. Он верил в независимость нашей страны, как верим в нее мы с тобой, как верил мой отец. Может, лучше порадуемся тому, что у нас есть хоть что-то общее?

Она говорила спокойно и разумно. Но с таким же успехом она могла говорить с Боном на каком-нибудь чужом языке. Ты коммунистка, решительно сказал Бон. И поглядел на меня дикими, безумными глазами уличного кота, раненого и загнанного в угол. Я не могу тут оставаться.

Я понял, что жизни тетки ничего не угрожает. Согласно строгому кодексу чести, которого придерживался Бон, платить убийством за гостеприимство было безнравственно. Но дело шло к полуночи, и идти нам было некуда.

Переночуем сегодня здесь, сказал я. А завтра пойдем к Шефу. Его адрес лежал у меня в бумажнике, я успел записать его в лагере на Галанге до того, как ответственные за развоз беженцев волшебники около года тому назад телепортировали Шефа в Париж. Услышав про Шефа, Бон успокоился, потому что был обязан ему жизнью и Шеф обещал, что, если мы когда-нибудь доберемся до Парижа, он нас не бросит.

Ладно, сказал Бон. Гашиш, вино и навалившаяся усталость притупили его инстинкт убийцы. Он снова, даже с каким-то сожалением, взглянул на мою тетку, возможно, то был единственный раз, когда он почувствовал хоть что-то похожее на сожаление. Ничего личного.

Миленький мой, политика – это всегда личное, ответила тетка. Поэтому от нее и умирают.

Тетка ушла в спальню, нам же в гостиной остался диван и куча постельного белья на персидском ковре.

Ты не говорил мне, что она коммунистка, сказал сидевший на диване Бон, глаза у него были налиты кровью.

Иначе ты ни за что не согласился бы тут жить, ответил я, усаживаясь с ним рядом. Кровь важнее убеждений, скажешь нет? Я вскинул ладонь с красным шрамом, знаком нашего кровного братства, в котором мы с ним поклялись друг другу однажды ночью в Сайгоне, в лицейской роще. Мы располосовали себе ладони и крепко стиснули руки, раз и навсегда смешав нашу кровь.

Теперь же, спустя век-другой со времен нашего отрочества – по крайней мере, так нам казалось после всех пережитых страданий, – в краю наших галльских предков, Бон тоже вскинул ладонь со шрамом и спросил: ладно, кто спит на диване?

Лежа на полу, я слышал, как на диване шепотом молится Бон, который молился каждый вечер, обращаясь к Богу и к погибшим жене и сыну, Линь и Дыку. Они погибли на взлетной полосе сайгонского аэропорта, в апреле 1975-го, когда мы штурмовали последний самолет и во второй раз стали беженцами. Равнодушная пуля, пущенная посреди хаоса каким-то неизвестным стрелком, сразила обоих. Иногда он слышал голоса их печальных призраков, которые то звали его к себе, то упрасивали не умирать. Но его столь привычные к убийству руки не восставали против своего хозяина, ведь убить себя – означало согрешить против Господа. А вот забрать чужую жизнь иногда было можно, потому что верующие частенько нужны были Господу в качестве карающих мечей, как-то так объяснял мне Бон. Истовый католик прекрасно уживался в нем с хладнокровным убийцей, но меня волновало не то, насколько Бон сам себе противоречил и, раз уж на то пошло, насколько сам себе противоречил я, а то, что когда-нибудь наши с ним противоречия встретятся. Узнав мою тайну, Бон в тот же день меня и покарает, и до нашей общей крови ему не будет никакого дела.

Утром, перед уходом, мы одарили тетку гостинцем из Индонезии, пачкой копи-лювак, у Бона в сумке их лежало четыре штуки. На эту мысль нас навел какой-то подельник Шефа, который принес нам накануне отъезда подарки для начальника – три пачки копи-лювак. Шеф обожает этот кофе, сказал подельник. Подергивающийся нос, жидкие усишки и расширенные зрачки делали его похожим на нарисованную на пачке крыску, ну или тогда мне так показалось. Шеф специально его попросил, сказал подельник. Мы с Боном наскребли денег и в аэропорту купили четвертую пачку копи-лювак, той же марки, и теперь вручили ее тетке.

Когда я рассказал ей, что лювак, она же пальмовая куница, ест плоды кофейного дерева, а затем ими же испражняется, потому что в ее кишках они как-то гастрономически перевари-

ваются, тетка расхохоталась. Было вообще-то обидно. Копи-лювак был многим не по карману, тем более нам, беженцам, и уж кто-кто, а французы могли бы и оценить процеженный через куницу кофе. Если вспомнить, что в числе их гастрономических предпочтений есть мозги, требуха, улитки и тому подобное, то французам за их героическое стремление съесть всякую часть от всякого животного стоило присвоить звание почетных азиатов.

Несчастные крестьяне! – она наморщила нос. Вот так способ зарабатывать себе на хлеб. Однако поняв, что совершила *faux pas*, тетка быстро прибавила: но вкус, наверное, восхитительный. Завтра утром я сварю нам по чашечке – точнее, нам с тобой.

Она кивнула мне, потому что завтра утром Бон уже будет у Шефа. Бон же, которого отрезвило утро, уже не заговаривал о вставшем между ними сатане, верный признак того, что Город Огней уже пролил на него капельку света. Тетка тоже ничего не сказала, вместо этого снабдив нас указаниями, как пройти к станции метро «Вольтер», находившейся в квартале от нас, – оттуда мы сможем добраться до Тринадцатого округа. Там был Азиатский квартал, Маленькая Азия, о которой в лагере для беженцев ходили самые разные истории и слухи.

Хватит реветь, сказал Бон. Ты эмоциональнее любой женщины.

А я не мог сдержаться. Лица, лица! Окружавшие нас люди напоминали о доме. Их было довольно много, но не так много, как в чайнатаунах Сан-Франциско или Лос-Анджелеса, где почти каждый был азиатом. Вскоре я выяснил, что французы начинают нервничать, когда небелые люди собираются чуть больше чем по двое. В итоге Маленькая Азия встретила меня хоть и не подавляющим, но выдающимся количеством азиатских лиц – уродливых, заурядных, но все равно радующих глаз. Среднестатистический человек любой расы обычно нехорош собой, но если чужое уродство лишь подкрепляет наши предрассудки, то некрасивость соплеменников всегда утешает.

Я утер слезы, чтобы лучше видеть наши традиции и обычаи, которые хоть и казались тут чужеродными, однако же все равно согревали наши сердца. Я имею в виду шарканье, которое азиаты предпочитают ходьбе, и как нагруженные покупками жены кротко плетутся за вышагивающими впереди мужьями, и как один такой образчик куртуазности высморкался, зажав пальцем одну ноздрю и с силой извергнув ее содержимое через другую – и едва не попав выстрелом из носа по носкам моих ботинок. Да, гадость, зато эту гадость легко смоем дождем, чего не скажешь о скомканной салфетке.

Наш путь лежал в магазин импорта-экспорта, который извещал о своих намерениях на французском, китайском и вьетнамском, а среди оказываемых здесь услуг значилась отправка посылок, писем и телеграмм, то бишь доставка надежды голодающим. Клерк, сидевший за прилавком на стульчике, хрюкнул что-то в знак приветствия. Я сказал, что мы пришли к Шефу.

Нет его, ответил клерк – поделник нам говорил, что он так и скажет.

Мы с Галанга, сказал Бон. Он нас ждет.

Клерк снова хрюкнул, сполз со стула так, чтобы не растревожить геморрой, и скрылся в проходе между стеллажами. Через минуту вернулся и сказал: вас ожидают.

За прилавком, за стеллажами, за дверью оказался кабинет Шефа, благоухающий лавандовым освежителем воздуха, усталый линолеумом и украшенный календарями с половозрелыми гонконгскими пинап-модельками в затейливых позах и деревянными часами, похожими на те, что я уже видел в лос-анджелесском ресторане моего бывшего начальника из Особого отдела, Генерала, человека, которого я предал и который в ответ предал меня. Я, правда, влюбился в его дочь, но в Лану бы всякий влюбился. Я до сих пор тосковал по ней, как мы, беженцы, тоскуем по родине, в форме которой были вырезаны деревянные часы. Теперь же наша родина бесповоротно изменилась, да и Шеф тоже. Когда он встал из-за своего металлического стола, мы его едва узнали. В лагере беженцев он был таким же истощенным оборванцем, как и все остальные: дрянная стрижка, на единственной рубашке под мышками и между лопаток коричневые пятна от пота, всей обуви – пара хлипких шлепанцев.

Теперь на нем были мокасины, брюки со стрелками и рубашка поло, повседневный наряд городской, западной ветви гомо сапиенсов, подстриженные волосы уложены на пробор, такой ровный, что во впадинку можно уместить карандашик. У нас на родине он имел значительную долю от оборота риса, газировки и нефтехима, не говоря уже о некоторых товарах, бывших в ходу на черном рынке. После революции коммунисты избавили его от лишнего богатства, однако эти приткие пластические хирурги отсосали у нашего котяры слишком много жира. Боясь, что помрет с голоду, он сбежал сюда и всего за год вернул себе звание бизнесмена и упитанный облик состоятельного человека.

Так, сказал он. Вы привезли товар.

Мы исполнили мужские ритуальные танцы с объятиями и похлопыванием друг друга по спине, после чего мы с Бонем подтвердили свое положение обезьян, стоящих на низших ступенях иерархии, вручив альфа-самцу наше подношение – три пачки копи-лювака. Все это мы отпраздновали французскими сигаретами и *Rémy Martin VSOP*, который мы пили из коньячных бокалов, ложившихся нам в ладони как груди совершеннейшей формы. Последние пару лет я не пил ничего изысканнее рисового самогона, от которого люди слепнут, и когда мой язык воссоединился со своей истинной любовью (одной из) – коньяком, на глаза навернулись слезы. Шеф ничего не сказал. В лагере для беженцев он, как и Бон, много раз видел меня плачущим. Кто-то корчился от малярии, я же трясся от приступов внезапных рыданий, и от этой лихорадки я так до конца и не излечился.

Когда мой язык пришел в себя после встречи с пышным, червонным коньячным телом, я шмыгнул носом и сказал, что никогда не угадал бы в Шефе ценителя кофе, сваренного из выпростанных куницей зерен. Тот, умело сымитировав на лице улыбку, вскрыл канцелярским ножом пачку кофе и вытряхнул на ладонь лоснящееся коричневое зерно, которое влажно засверкало под настольной лампой.

Я не пью кофе, сказал он. Чай – да, а вот кофе для меня крепковат.

Мы поглядели на несчастное зерно, которому в пузико уперся канцелярский нож. Шеф покрутил зерно, зажал его между пальцами и осторожно поскреб ножом. Под коричневыми чешуйками показалась белизна.

Краситель растительный, сказал он. Не отравишься, даже если занюхаешь.

Он вскрыл вторую пачку, вытряхнул зернышко и поскреб краску, из-под которой опять показалась белизна.

Товар надо проверить, сказал он. На подельников надежды нет. Правда жизни, проверено на себе: не надейся на подельника.

Он небрежно вытащил молоток из ящика стола, как будто ящики стола для того и нужны, чтобы там лежали молотки, и легонько постучал по зернышку, которое тотчас же рассыпалось в порошок. Он окунул в коричневатый порошок палец, облизнул его. От одного взгляда на его розовый язык у меня задергался большой палец на ноге.

Конечно, лучше всего нюхнуть. Но это и без меня есть кому сделать. Вам, например. Снимете пробу?

Мы помотали головами. Он выдал еще одну факсимильную улыбку и сказал: молодцы. Это отличное лекарство, но от него потом нужно будет лечиться.

Тут он вскрыл третью пачку, вытряхнул на стол очередное зерно и постучал по нему молотком – раз, другой, третий. Зерно не рассыпалось. Он нахмурился и постучал снова, чуть сильнее. Затем он обрушил на зерно удар, от которого удивленно подпрыгнула настольная лампа, но когда он убрал молоток, мы увидели не белый порошок, а кучку совершенно коричневой трухи.

Вот говно, пробормотал Бон.

Да нет, это кофе, сказал Шеф, медленно откладывая молоток. Он откинулся в кресле, уголки его губ подрагивали, так, самую малость, как у довольного аудитора, который только что

обнаружил роковой промах какого-нибудь мошенника. Время, похоже, остановилось, потому что стрелки на часах не сдвинулись с места с тех пор, как мы вошли в кабинет Шефа. Так, ребята, сказал он. Кажется, у нас проблема.

«У нас», разумеется, значило, что проблема у нас.

Никто не знал, как зовут Шефа, а если и знал, то не осмеливался сказать. В его паспорте стояло какое-то имя, но никто не знал, настоящее ли оно, да и паспорт этот видели только власти. По идее, мать с отцом знали, как его зовут, но он был сиротой, да и, как знать, может, они не стали придумывать ему никакого имени перед тем, как оставить в приюте. Сирота – тот же ублюдок, поэтому я в какой-то степени сочувствовал Шефу, который в двенадцать лет сбежал из приюта, не желая больше терпеть католические нравоучения, одну и ту же вечную кашу с перхотью солонины, детей, издевавшихся над ним за то, что он китаец, и нескончаемую горечь оттого, что его так и не усыновили.

Его опыт общения с детьми означал, что заводить детей у него не было ни малейшего желания. Шефу не нужны были наследники, его наследием был он сам, и другого ему было не надо. Он внимательно посмотрел на сидевших перед ним мужчин – одним из этих двоих был я – и решил, что его наследию они не угрожают, что они не настолько тупы, чтобы рисковать полезным сотрудничеством ради полкило отличнейшего лекарства.

Вот как мы поступим. Оставшуюся пачку копи-лювак принесете завтра. И все забыли – проехали, согласны?

Да, ответили они хором. Знавшие его люди всегда говорили да, если он хотел услышать да, и нет, если он хотел услышать нет. А людям, которые его не знали, он и должен был объяснить, кто он такой и что им полагается отвечать. Эти двое его знали и понимали, что если он не может доверить им полкило, то он не сможет им доверить ничего вообще. Он нарисовал на лице улыбку и сказал: ну ошиблись, с кем не бывает. Уж простите за беспокойство. Говоришь, твоя тетка любит гашиш? Я ей отсыплю. Денег не надо. Угощаю.

Затем он написал на бумажке два адреса, отдал ее Бону и сказал: забросишь вещи и пойдешь в ресторан. Не стоит опаздывать в первый рабочий день.

Они допили коньяк, пожали ему руку и ушли, оставив его с бутылкой *Rémy Martin*, пачкой сигарет, переполненной пепельницей, тремя пустыми бокалами, кофейными зернами и молотком. Он отряхнул молоток от белого порошка и кофейной трухи и повертел в руках, восхищаясь его тяжестью, элегантностью, основательностью. Едва приехав в Париж, он купил его в хозяйственном магазине вместе с коробкой гвоздей. В каждом новом месте он сразу покупал молоток, если вдруг оказывался там без молотка. Простой инструмент, конечно, но для того, чтобы изменить мир, ему ничего больше не требовалось – только ум и молоток.

Глава 2

Уменя, конечно, были причины бояться Шефа, но вот Бона я боялся не так сильно. Теперь, по прошествии времени, понятно, что я ошибался, ведь это Бон прострелил мне голову. Мы с Бонем знали друг друга более двадцати лет, с первой нашей встречи в лицее. Он видел слишком много насилия и смерти и сам сеял смерть и насилие, а потому не боялся даже таких, как Шеф. Почти всю жизнь Бон пытался осмыслить, каково это – взять и умереть, нездоровое увлечение, конечно, но только не для Бона. Если это философский вопрос, тогда Бон был отменным философом. Смерть занимала его с самого детства, с той самой минуты, когда вьетконговец навел на затылок его отца указующий перст револьвера и продырявил хрупкую оболочку, обнажив то, что не следует видеть сыну, и пробудив в Боне убийственные наклонности, с которыми не было никакого сладу до тех пор, пока он не оказался в исправительном лагере. Это там Смерть расталкивала его каждое утро, поднося к лицу осколок зеркала, чтобы тот глядел на свое затуманенное дыханием отражение.

До перевоспитания Бон выслеживал и убивал людей без каких-либо угрызений совести. После перевоспитания он куда вдумчивее отнесся к предложению о трудоустройстве, которое Шеф сделал ему в лагере. Увидев, как виртуозно Бон умеет спасать себе жизнь, Шеф сказал: вот кто-то такой мне и нужен – делать вот что-то такое же.

Честных людей я не трогаю, сказал Бон.

Они оба внимательно поглядели на скорчившегося у их ног мужика, потерявшего то ли сознание, то ли жизнь: Бон переключил ему лицо на кубистский манер. Шеф, пожав плечами, согласился, ведь за то, чтобы овладеть его ремеслом, люди как раз и платили честью. Но вот второе условие Бона – чтобы он нашел работу и для меня – не вызвало у Шефа энтузиазма.

Он сразу понял, что у меня не хватает одного болтика, старого доброго болтика, на котором годами держались оба моих сознания. Иногда я и сам не замечал, что у меня два сознания, ведь таково было мое естественное противоестественное состояние. Теперь же, под воздействием многолетнего стресса, пока я был предателем, перебежчиком и падалью, у болтика сорвало резьбу. Пока болт был крепко вкручен, оба моих сознания неплохо уживались друг с дружкой. Но как только я попробовал – вслед за всем человечеством – просто забить болт, как сам тотчас же и разболтался.

Или берешь двоих, сказал Бон, или не берешь никого.

Беда с этой верностью, вздохнул Шеф. Отличная штука, но потом от нее все равно один гемморой.

Ступив за порог магазина импорта-экспорта, мы столкнулись с дилеммой. Шеф хотел, чтобы мы сразу отправились на работу. Но еще Шеф хотел, чтобы мы вернули ему пачку копилювак, которую моя тетка могла вскрыть в любой момент. Что же делать?

Она же говорила, что завтра кофе заварит, сказал я. И говорила без особого восторга, поэтому вряд ли она сама его выпьет.

Ну ладно, ответил Бон, глядя на солнце, чтобы понять, сколько времени. Часы у него забрали охранники в исправительном лагере, чтобы... чтобы... в общем, забрали без всяких объяснений. Давай тогда по-быстрому со всем этим разберемся.

До жилья идти было всего ничего, по району, пешеходную архитектуру которого никак нельзя было назвать очаровательной. В отличие от Парижа Мориса Шевалье и Катрин Денев, Тринадцатому округу явно недоставало шарма, и было не очень понятно, то ли власти разрешили азиатам тут селиться как раз из-за этого его уродства, то ли присутствие азиатов добавляло этому месту некрасивости.

Однако когда утомленная консьержка с обмякшей «химией» показала Бону, где он будет жить, тот остался доволен – ряды двухъярусных коек напомнили ему армейские бараки, к которым он питал истинную страсть. Ностальгия витала тут в терпком от мужского пота воздухе, наводившем на мысли о честности и чувстве локтя. Впрочем, здесь-то явно жили гражданские, это было видно и по одеялам, стыдливо ежившимся на матрасах, и по вздыбленным циновкам на паркетном полу, и по служившему кухней складному столику, на котором замызганная двухконфорочная электроплитка соседствовала с рисоваркой.

Все на работе, сказала консьержка. Вот твоя койка.

И сколько?

Шеф за все платит. Выгодное предложение, да?

Выгодное предложение для Бона означало еще более выгодное предложение для Шефа. Но другого пристанища, кроме теткиной квартиры, у Бона не было, поэтому он кинул сумку на матрас и сказал: жить можно.

Во время перевоспитания он крепко усвоил, что это-то и есть его особый талант. Жить можно где угодно.

Следующим пунктом нашего маршрута был ресторан «Вкус Азии» на рю де Бельвиль, где Бону предстояло работать поваром. Поваром? – переспросил Бон. Я ж не умею готовить. Насчет этого не волнуйся, сказал Шеф. Это место славится не своей кухней.

В ресторане, который славился не своей кухней, на белом плиточном полу набухали варикозные вены коричневого жира, желтые стены были заляпаны следами от липких пальцев – я, конечно, надеялся, что это были пальцы, – кухонные двери то и дело с шумом распахивались, и оттуда доносились крики и гогот неприветливых официантов и сквернословящих поваров. В стоявшем возле кассы магнитофоне верещала вьетнамская и китайская опера. За кассой пристроился метрдотель и диск-жокей Лё Ков Бой, который, от макушки до манер, был типичным представителем вьетнамских романтиков: отчасти поэт, отчасти плейбой, отчасти – гангстер.

Обожаю, как они напрягаются, когда я жму на «плей», со смехом сказал он, глядя, как случайный посетитель уходит, оставив на столе полную миску копошащихся червей, которые при ближайшем рассмотрении оказались жирной резинистой лапшой. Он вытащил кассету и вставил новую. *Led Zeppelin*, «Stairway to Heaven», сказал он. Совсем другое дело. Так, ладно! Про вас, плохишей, мне Шеф уже все рассказал.

Лё Ков Бой был при Шефе фельдмаршалом. Он представил нам сотрудников ресторана: двух официантов, трех поваров, мальчишку на побегушках и охранника, или, как выразился Лё Ков Бой, Семерых Гномов. В отличие от Белоснежкиных Семи Гномов они не были ни милыми, ни даже гномами – просто мерзкими и злобными коротышками. А примечательнее всего то, сообщил я Лё Ков Бою, что семеро – многовато для ресторана, который стоит пустым в выходной день, да еще в обеденное время. Он засмеялся и ответил: вот и гадай, с чего бы Шефу отправлять ко мне еще двоих сотрудников.

Любому туристу или даже случайному прохожему было ясно, что ресторан держится на плаву не за счет кулинарии, а служит аванпостом для амбиций Шефа, мечтавшего выйти за пределы Маленькой Азии и освоить центральный парижский рынок, средоточие белизны – со всеми его теневыми темными делишками. Этот аванпост и был линией фронта для Лё Ков Боя и Семерых Гномов, не просто коротышек, а еще исчадий ада и амбидекстров. Их любимым оружием были мясницкие тесаки, которыми удобно орудовать и на кухне, и на задании, куда они обычно брали по два огромных ножа, пряча их в кожаных чехлах под мышками.

Они такие злобные, потому что коротышки, сказал Лё Ков Бой. И справиться с ними не так-то просто, потому что они коротышки. Вот так вот замахнешься, целя в голову – туда, где она вроде должна быть, – и промажешь. Никому не пожелаю, чтобы на него набросились все семеро разом, но они именно так и работают. Один отхватывает тебе мужское достоинство,

второй подрезает коленные чашечки, третий – сухожилия, и все это одновременно. Он выдохнул облачко дыма. А вот нюансов они не понимают. В их словаре нет слова «нюанс». Блин, да в их словаре нет даже слова «словарь». Вот для такого нам вас и прислали.

Лё Ков Бой поправил очки-«авиаторы», которые он никогда не снимал, – говорили даже, что он и сексом в них занимается, он сам, кстати, и говорил. Он гордился их брендовостью – мол, это настоящие американские «Рэй-Бены», не какая-нибудь там дешевая подделка, то и дело повторял он. Лё Ков Бой был стилигой всегда и во всем, от дизайнерских носков до зацементированной помадой прически, которая лежала волосок к волоску и когда он декламировал стихи (собственного сочинения), и когда занимался сексом (энергично), и когда размахивал своим любимым оружием – бейсбольной битой, подаренной ему американским кузенком. Лё Ков Бой горько сожалел о том, что беженцем он оказался во Франции, а не в Америке, которой бредил во времена своей чолонской молодости. Лё Ков Бой, как и Шеф, по национальности был китайцем, сыном чолонского гангстера и внуком гуандунского лавочника, на исходе века обосновавшегося в Сайгоне. Дед продавал шелк и опиум, отец – только опиум, а внуку уже и продавать было нечего, кроме своей грубой силы, и к теме этого трагического упадка он частенько обращался в своей поэзии, которая, впрочем, была столь неопишимо плоха, что я обойдусь без цитат.

Для вас я Бодлер, только с бейсбольной битой, сказал он, продемонстрировав нам свою заветную «Луисвилл-Слаггер». И название-то какое, прибавил он, возя битой по прилавку, где стояла понурая касса, у которой в жизни было одно-единственное предназначение – выбивать чеки, да и то, считай, не сбылось. А вот как бы нам вас назвать? Ты – Убийца, это понятно. Не хотел бы я открыть дверь и увидеть тебя на пороге. Но ты-то! Лё Ков Бой обратил на меня задумчивый взгляд. Шеф сказал, у тебя уже есть прозвище. Знаешь какое?

Он расплылся в довольной улыбке, которую столь обожаемые им американцы называли *shit-eating grin*, «говноедской», то бишь выражением, полностью противоположным собственному значению. Здорово, Большой Ублюдок, сказал Лё Ков Бой. Я о тебе слышан.

Раньше я бы обиделся. Но, как знать, может, после всего, что мне довелось выстрадать и увидеть, я и впрямь стал больным ублюдком. Может, это просто еще одно имя для человека о двух лицах и двух сознаниях. Если так, то я хотя бы знаю, кто я такой, а этим далеко не каждый может похвастаться. Мое двойное отражение, подрагивающее в линзах его очков, напомнило мне, что я не один – нас двое, не только я или *moi*, но, в некоторых случаях, и мы со мной. Может, конечно, мы и два человека в одном теле, два сознания в одной черепушке, но если половинчатость и есть признак слабости, то моя сила в том, чтобы быть самому себе близнецом. Никакие мы не половинки. Как все время твердила мать, во мне всего вдвойне.

Ладно, хватит болтать, сказал Лё Ков Бой. Тошнит меня от этих светских разговоров. За работу.

Эй, начальник, окликнул его вылезший откуда-то из подсобки гном с набрякшими веками. Бука снова за свое.

*Du ma!*¹ – ответил Лё Ков Бой. Ну а ты чего тогда тут стоишь?

Du ma! – сказал Соня, тыча в меня пальцем. Он у нас новенький.

Дело говоришь. Лё Ков Бой кивнул в мою сторону. Соня тебя проведет. И скажет, что делать. Ну а потом нас ждет серьезная работа.

Я пошел за Соней. Остановившись перед замызганной дверью, он оскалился и сказал: ну что, начнешь лезть по карьерной лестнице с самых низов?

Соня от всей души посмеялся над собственной шуткой и даже как будто обиделся, что я не стал смеяться с ним вместе. Надувшись, он пинком распахнул дверь и сказал: не забудь помыть руки. Чистые руки – чистые продукты, согласен? Заметив, что у меня заслезились

¹ Вьетнамское ругательство, примерно означающее «пошел в жопу». (Здесь и далее – прим. перев.)

глаза и я с трудом сдерживаю рвотные позывы, Соня привстал на цыпочки, заглянул в туалет и сказал: ох ты ж, ёбтить. Фу. В смысле... ну что, удачи тебе, новенький.

Резиновых перчаток тут и в помине не было, хотя вряд ли поверхность таких перчаток была бы хоть сколько-нибудь гигиеничной. Единственными инструментами, пригодными для раскопок забившегося отверстия, были вантуз с короткой ручкой и резиновым клапаном прискорбно малого размера да туалетный ершик с изгаженной щеточкой. Если бы вантуз или ершик могли говорить, то, несомненно, орали бы истошнее, чем меня тошнило.

Двадцать минут спустя я, содрогаясь, вышел из туалета, стараясь не думать о мелких брызгах, которыми была покрыта вся моя одежда, да и, наверное, руки с лицом тоже. В лагере беженцев я видал и кое-что похуже, но ведь теперь-то я был в Городе Огней!

Закончил? – спросил Лё Ков Бой. Говорил же Буке, не жри то, что здесь готовят. Считай, и тебя предупредил. Ладно, пойдем. Надо один должок вернуть.

Путь наш лежал в Марэ, где, по словам Лё Ков Боя, жили одни евреи и пидорасы, хотя наш объект не был ни тем ни другим. Объект, рассказал Лё Ков Бой, – клиент, любивший бить девочек, на что в принципе можно закрыть глаза, если сойтись в цене. А вот на имевшийся за ним долг, по которому уже выросли пени, закрыть глаза никак нельзя.

Никогда не влезай в долги из-за бабы, сказал Лё Ков Бой, останавливаясь у дверей турагентства, чтобы пропустить японского туриста с фотоаппаратом, к которому был прикручен объектив длиной в руку. За столом агента, виновного только в том, что к клетчатой рубашке с короткими рукавами надел вязаный галстук, сидела молодая пара. У агента забегали глаза от страха при виде двух с половиной азиатов явно не из числа уважаемых буржуа, ищущих, где бы укрыться от низкопробных притязаний французского капитализма образца восьмидесятых годов. Бон уселся на стул рядом с молодой парой и уставился на нашего клиента. Лё Ков Бой сказал, что торопиться не надо, мы подождем, на побережье Испании в это время года очень красиво. Потянулись неловкие минуты – по крайней мере, неловкие для агента, пока Лё Ков Бой расхаживал по офису, насвистывая «Stairway to Heaven» и водя пальцем по плакатам с пальмами и пляжами, по лежавшим на столе брошюркам, по спинкам стульев, на которых сидела молодая пара.

Бон так и остался сидеть рядом с ними, глядя в упор на агента, однако не выпуская из вида и парочку. Те переглянулись, а агент начал заикаться, дрожащими пальцами перебирая в папке варианты туров. Я же стоял возле двери, прижавшись к стене и наблюдая сразу за всеми, а когда парень с девушкой, нервно улыбаясь, сказали, что подумают и зайдут потом, я распахнул перед ними дверь. Агент начал заламывать руки, перемежая объяснения мольбами, но Лё Ков Бой, не обращая на него никакого внимания, сказал Бону: это вор, который бьет девочек. Согласись, для первой работы лучше и не придумаешь.

Соглашусь. Бон встал. Легче легкого. Для меня, по крайней мере.

Глядя на агента, который стонал и извивался на идеально чистом полу – Бон работал аккуратно, без крови, – я вдруг со стыдом понял, что у нас с этим человечком есть кое-что общее, помимо нашего жалкого желания жить. У нас с ним одно и то же естество, та же похоть, тот же горячий мозг, который и десяти минут не может прожить без того, чтобы его поле зрения не затмила какая-нибудь сексуальная фантазия. Все мужчины одинаковы, 90–95 процентов мужчин уж точно. За исключением разве что Бона, который так чист сердцем, что даже в океанических глубинах души и разума не предастся никаким фантазиям о противоположном поле. Хотя им предаются почти все мужики. А что я – я был как все.

Я пустил слезу по агенту, но больше, конечно, по себе и по маме, которой пришлось с тоской глядеть на все это сверху. Лё Ков Бой презрительно фыркнул – презрение у него

вызвал не избитый агент, а мои слезы. Ты держи себя в руках, сказал он, когда мы вышли из турагентства.

Краснея за меня, Бон сказал: забери тогда копи-лювак, – и на этом мы расстались. Они пошли обратно, во «Вкус Азии», а я, утирая слезы, отправился к тетке – перед глазами у меня стоял Бон, который выкручивал агенту его мужское достоинство до тех пор, пока несчастный мужик, теряя сознание, не принялся звать маму, из-за чего я вспомнил свою мать. Я никогда не жил с женщинами, только с мамой, и поэтому совершенно не представлял, что делать с женщиной, которая мне не мать и за которой я не волочусь. Я тихонько отворил дверь в теткину квартиру и застал тетку за письменным столом, вдвинутым в коридорную нишу. Она редактировала рукопись и курила, хотя, может, курение и было основным ее занятием и она просто изредка переключалась на редактуру.

Как день прошел? Она помахала сигаретой и протянула мне пачку.

Без приключений, ответил я, думая, цел ли еще копи-лювак. Познакомился с Шефом, поработал немного.

Приведи себя в порядок, и все мне расскажешь. Она указала на дверь, ведущую в ванную. Скоро начнут собираться гости, я им столько про тебя рассказала, талантливый ты мой племянничек.

Вскоре мне предстояло узнать, что у себя в квартире тетка держала настоящий салон, куда стекались писатели, редакторы и критики – толпа интеллектуалов такого левого толка, что я вечно поражался, как это почти все они едят правой рукой. Тетка благодаря своей редакторской карьере, любви к шумным сборищам и умению ловко поддуть опавшее мужское эго – впрочем, особой ловкости тут никогда и не требовалось – собрала вокруг себя обширное дружеское сообщество, почти целиком состоявшее из мужчин, торговавших словами и идеями. Два, а то и три раза в неделю к тетке кто-нибудь навещался с бутылкой вина или коробкой разноцветных пирожных «макарон». Тетка беззаботно поглощала вино и пирожные, без каких-либо видимых последствий для своей тонкой талии. Этот дар у нее развился во многом из-за того, что она почти не ела никакой настоящей еды – по крайней мере в моем присутствии, – а вместо этого под завязку накачивала себя дымом, вышеупомянутыми словами и идеями и вот этими воздушными, сладкими «макаронами».

Как насчет чашечки копи-лювак? – крикнул я из кухни, которая не просматривалась из теткиной ниши. К моему облегчению, наш подарок так и остался нераспечатанным. Когда тетка согласилась, дело уже было за малым – подменить пачки и принести в гостиную стеклянный кофе-пресс, до краев наполненный темным варевом. Вскоре тетка вышла ко мне, и, пока мы курили «Голуаз» и прихлебывали куний кофе, я отчитался ей о том, как провел день.

Не скажу, что чувствую какую-то особенную разницу, сказала она. Хотя кофе, конечно, вкусный. И кстати, довольно крепкий.

Это чистая психология. Когда знаешь, откуда он взялся, и вкус кажется другим.

То же самое, когда знаешь, откуда взялись Шеф и Лё Ков Бой, сказала она. Мне они видятся темными и крепкими, как этот кофе. Один гангстер, другой романтик. Поэзия и насилие. Не это ли определило и всю культуру нашей родины?

Разве наша родина не Франция? Отец, когда учил нас в школе, всегда велел повторять вслед за ним: *la Gaule*, Галлия – земля наших предков.

Твой отец был колонизатором и педофилом, одного без другого не бывает. Колонизация и есть педофилия. Отечество растлевет и насилует своих незадачливых воспитанников, и все во святое и фарисейское имя насаждения цивилизации.

Когда ты так обо мне говоришь, мне кажется, будто я какой-то символ.

Привыкай, мой дорогой. Для нас, французов, нет ничего милее символов.

Такова была природа нашей с ней беседы, дискурс весьма освежающий после топорной пропаганды исправительного лагеря и примитивного псевдореализма уже подзаржавев-

шей Американской Мечты. Американцам противны всякие символы, кроме патриотических, сентиментальных, вроде ружей и флагов, мамочки с ее яблочным пирогом, в общем, всего, что среднестатистический американец клянется защищать до последнего вздоха. Нельзя не любить столь практичных, прагматичных людей, которым нет дела до каких-то там интерпретаций, которым подавай одни факты, и все тут, мэм. Стоит завести с американцами разговор о скрытых смыслах какого-нибудь фильма, и они по привычке начнут доказывать, что это самая обычная история. Для французов обычных историй просто не существует. А уж факты они считают и вовсе скучным делом.

Факты, сказала тетка, – это всего лишь начало, а не конец.

Раз уж мы заговорили о фактах, я думал, ты швея.

А я думала, ты капитан-патриот, ставший беженцем. У тебя своя легенда, у меня – своя. Легенда от Мана? – спросил я.

Она кивнула, и я спросил: ты сообщила ему о том, что я здесь?

Разумеется. Ответа пока не было. Она проницательно на меня посмотрела. Я ведь в первую очередь верна ему, моему настоящему племяннику, точнее, даже не ему, а революции, от которой ты отказался.

Я не отказывался от революции. Это она от меня отказалась.

Разочарования, отказы, предательства – к несчастью, все это весьма характерно для революций, как оно бывает со всеми бурными романами. Вы с ним что-то не поделили?

Это потому, что я снова беженец?

Да. Или это очередная легенда? Чтобы Бон ничего не заподозрил? Он ведь убьет тебя, если узнает, что ты коммунист, да?

Моя чашка была пуста, только на дне осталась мелкая кофейная гущица.

Да.

Когда ты мне написал и попросил помочь, я согласилась...

И я очень тебе за это признателен...

...согласилась потому, что ты многое сделал для революции. И потому, что мне хотелось узнать, что же все-таки с нашей революцией стало. Уж я пропаганду везде узнаю, а наша революция сейчас свелась к сплошной пропаганде. Но даже если у нашей революции и есть свои недостатки – а у какой революции их нет? – это не значит, что я поддерживаю контрреволюционеров. Так что скажи-ка мне, бывший мой коммунист: ты теперь заделался реакционером?

А я могу быть только коммунистом или реакционером? Других вариантов нет?

Какие у тебя могут быть варианты?

Ты ведь редактор, сказал я. Я дам тебе кое-что почитать.

Я вытащил свое признание из-под фальшивого дна в саквояже и отдал его ей, все 367 страниц. Не успела она проглядеть первую страницу, как стук в дверь возвестил о приходе гостей, одетых очень просто, но так безупречно, что я новыми глазами посмотрел на собственную заурядную белую рубашку с закатанными до локтей рукавами, на унылые черные брюки, на пыльные туфли – в этом наряде я походил на официанта, впрочем, я и был теперь официантом.

Наши гости тоже были одеты в брюки и рубашки, у них, как и у меня, были руки, ноги, глаза. Но если у нас и имелись некоторые общие элементы, делавшие нас людьми, то гости явно были филе-миньонами, с кровью и идеальной корочкой, в то время как я был вареной требухой – скорее всего, кишками. Иными словами, мы приходились друг другу дальними родственниками, но никому в голову не пришло бы нас спутать. Их рубашки из превосходного хлопка, спряденного каким-нибудь ребенком в безграмотной, нищей и жаркой стране, были заметны издали. Их брюки не нужно было поддерживать ремнями, они и так хорошо сидели, на мне же брюки болтались, и я не мог обходиться без уродливой полоски змеиной кожи, которой меня снабдили в лагере беженцев и которую им наверняка пожертвовал техасец или фло-

ридец типичного американского размера – короче говоря, еехватило бы на двух оголодавших вьетнамцев.

Первый джентльмен, с взъерошенными черными волосами с проседью, был психоаналитиком. Второй джентльмен, с прилизанными седыми волосами с прочернуью, был политиком. Он был социалистом, что во Франции считается почетным званием, и весьма счастливым человеком, потому что другой социалист на прошлой неделе как раз выиграл президентские выборы. Политик был таким известным, что его представляли одними инициалами, из-за чего я поначалу немного растерялся.

Цеце? – переспросил я.

ППЦ, повторила тетка.

ППЦ и психоаналитик, оказавшийся к тому же маоистом и доктором наук, взирали на меня с любопытством, вскоре переросшим в презрение, которое французам всегда непросто скрыть, потому что презрение у них считается добродетелью. Тетка представила меня как беженца от коммунистической революции, приключившейся у меня на родине, а эти двое были леваками, которым вьетнамские революционеры виделись кем-то вроде благородных дикарей современного разлива. Если я не принадлежал к благородным дикарям, значит, я был дикарем неблагородным, и ситуацию тем более не спасал мой заржавевший школьный французский, на котором я не говорил с самого лица. После нескольких неуверенных попыток завязать беседу, когда быстро выяснилось, что я тону в интеллектуальных, культурных и политических течениях Парижа, Франции и французов – я, например, заговорил о Сартре, не зная, что великий экзистенциалист вот уже два года как умер, – доктор Мао, ППЦ и моя тетка и вовсе перестали обращать на меня внимание. Я униженно присел на край кушетки – край мне давно известный, куда я чаще всего отправлялся после того, как меня называли ублюдком. Обычно на такое я реагировал резко, делал хорошую мину. Но теперь я не был собой, точнее, я был собой и мной, мой болтик держался на честном слове, и я искал утешения сначала в первой, а затем и во второй бутылке вина, принесенных гостями, пока мимо меня, мелькая окнами, несся скорый поезд светской беседы. Я курил тетнины сигареты, разглядывал потолок, ковер, начищенные носы мужских ботинок и понимал, что я не просто клоун, я шут гороховый.

Я с облегчением принял предложенный теткой гашиш, не зная, как бы половчее выпутаться из их *ménage à trois*. И волшебный гашиш так выправил положение, что вечером, когда доктор Мао попрощался со всеми и даже со мной, ППЦ остался сидеть. Тетка закрыла за доктором Мао дверь и сказала: какой прекрасный вечер. До завтра...

Она кивнула ППЦ, тот встал и, несколько издевательски мне поклонившись, проследовал за ней в спальню. Из-за закрытой двери донесся смех, смеялись они, конечно же, надо мной. Вместе с ними смеялся и я. Ведь я, в конце концов, беженец, а не революционер, холуй из захолустья, пентюх-племянничек из колонии, тупой ублюдок и провинциальный пуританин, который даже во время гашишной качки поражается тому, что его тетка занимается сексом с политиком, что она вообще с кем-то этим занимается, пусть даже этот кто-то и социалист.

Ночью, когда я уже устроился на диване, в голове у меня миной замедленного действия сдетонировал один давний урок. Пытаясь уснуть, я вдруг вспомнил лицейского профессора, который получал образование в Париже в тридцатые годы. Мы, ученики, ему завидовали, мы перед ним трепетали. Да уж, в нашей душной колонии было не продохнуть от зависти и священного трепета, как оно всегда бывает в колониях. Колонизаторы мнят себя богами, а прислуживающие им посредники-аборигены думают, что они их апостолы, их священнослужители. Неудивительно, что колонизаторы смотрят на нас снизу вверх, как на детей, дикарей или овец, а мы взираем на них как на господ, полубогов или хищников. Разумеется, обожествлять людей опасно, ведь рано или поздно несовершенство их человеческой природы станет явным, и тогда

у верующего нет другого выхода – только убить поверженного кумира, пусть и заплатив за это собственной жизнью.

Одни любили наших покровителей – французов, другие ненавидели французов – наших колонизаторов, но совратить они нас совратили всех. Любви (а французы считали наши с ними отношения любовью), как и насилия (хоть французы и притворялись, что ничего такого не было), не бывает без следов от побоев и соприкосновений языков. И вот, значит, французскому языку и литературе нас учил этот профессор, воистину ступавший когда-то по земле Галлии, нашего отечества, куда его, студента-стипендиата, отправили набираться французской культуры. К нам, невежественным туземцам, он вернулся уже пропитавшейся культурой губкой и начал прикладывать себя ко лбам, которые могло лихорадить революцией.

Ах, Елисейские поля, заливался Губка. О, Эйфелева башня!

И у всех у нас немного шла кругом голова, и все мы мечтали о том, что когда-нибудь тоже сядем на пароход до метрополии с одним лишь чемоданом, стипендией и комплексом неполноценности.

Ах, Вольтер, восторгался Губка. О, Декарт! О, Руссо!

По правде сказать, готовясь к Губкиным урокам, мы с удовольствием читали всех этих мастеров в оригинале и верили Губке, когда он говорил нам, что великая литература и философия – универсальна, и что нет более великой литературы и философии, чем французская, и что если мы будем изучать французскую литературу и философию, то в один прекрасный день и сами станем французами, хотя наше изучение канона несколько затруднял колониальный контекст.

От Декарта, к примеру, я узнал, что если я мыслю, то, следовательно, я существую! Но еще я узнал, что в мире, где телесность противопоставлена разумности, мы, вьетнамцы, находимся во власти своих тел и поэтому-то французы могут управлять нами при помощи своего разума. От Вольтера я узнал, что лучше всего возделывать свой собственный сад, однако в трактовке французов это значило, что нам надо сидеть и не высовываться, ковыряться в своих огородах, пока французы занимаются делами всей нашей колонии и подвергают нас ужасам, словно каких-нибудь Кандидов. Но больше всего я, наверное, узнал от Руссо, ведь пока я писал свою исповедь в исправительном лагере под весьма ощутимым руководством Мана, мне то и дело вспоминалось начало исповеди самого Руссо:

Я предпринимаю дело беспримерное, которое не найдет подражателя. Я хочу показать своим братьям одного человека во всей правде его природы – и этим человеком буду я... Хорошо или дурно сделала природа, разбив форму, в которую она меня отлила, об этом можно судить, только прочтя мою исповедь².

Спасибо тебе, Жан-Жак! Ты научил меня, что надо оставаться верным самому себе – ну и пусть я мерзкий ублюдок, зато других таких мерзких ублюдков история не знает и не узнает. Я полюбил каяться и не перестаю признавать, что виновен в разбое, пытках и предательствах, которым нас при помощи пыток и разбоя обучили наши французские хозяева, предав свои собственные идеалы.

Эти непростые уроки я заучивал еще лучше, когда покидал священные лицейские куши и оказывался на улицах Сайгона с французской книгой под мышкой, где меня то и дело оскорбляли на языке Дюма, Стендаля и Бальзака. Всякий француз, француженка или французский ребенок, не важно, богач, бедняк, урод или красавец, мог называть нас, как ему или ей вздумалось, – ну они и называли. Желторылые твари! Чурки узкоглазые! Сквозь губы идеальной формы, сквозь белые зубки обладателей дорогих ботинок и изящных туфелек в нас летели сплюнутые эти семена, пускавшие крепкие корни под нашей нечистой кожей, как оно случи-

² Перевод Д. Горбова и М. Розанова.

лось с Хо Ши Мином, который хорошо подытожил, что мы, колонизированные народы Африки и Азии, для наших хозяев были «грязными ниггерами и грязными аннамитами, годившимися лишь на то, чтобы таскать рикши да сносить побои начальников».

Одни игнорировали эти оскорбления в надежде, что когда-нибудь наши хозяева нас полюбят.

Другие не могли забыть этих оскорблений и желали нашим хозяевам смерти.

А третьи – вроде нас со мной, разумеется, – наших хозяев и любили, и в то же время ненавидели.

Любить хозяина, который бьет тебя по почкам, не проблема, если ты испытываешь к нему одну только любовь, но любовь в сочетании с ненавистью становится постыдным секретиком, такая любовь порождает лишь смятение и ненависть к самому себе. Именно поэтому я не ушел с головой в изучение французского – в отличие от английского – и не сказал ни слова по-французски с тех самых пор, как окончил лицей. Французский был языком поработителей и насильников, зато английский был новшеством, возвещавшим приход американцев и конец французским надругательствам над нами. Я овладел английским без всяких двойственных чувств, потому что английский никогда не владел нами.

Теперь же, оказавшись в Париже, на родине моего отца, в обществе социалиста ППЦ и доктора Мао, я наконец понял, что белые люди не только видят во мне другого. Они еще и слышат во мне другого, ведь когда я открыл рот и переколотил тонкий фарфор их французского языка, они услышали то, что наверняка услышал и затем украл у какого-нибудь безымянного африканского или восточного путешественника поэт, вундеркинд, торговец рабами и оружием Рембо: я – это другой.

Французам даже не нужно было клеймить нас. Пока мы говорили на их языке, мы клеймили себя сами.

Я, другой, проснулся, но казалось, будто я, или я же, все еще сплю, потому что я видел все собственными глазами и в то же время смотрел на меня со мной глазами тетки и ППЦ. Они вышли из спальни, помятые, но элегантные, а вот я им виделся просто помятым. ППЦ был одет в синий бархатный халат, словно боксер после победного раунда на ринге, – посткоитальный костюм, который тетка держала для всех своих гостей. Сама она была облачена в серый атласный балахон и тюрбан из такой же материи – наряд, который какая-нибудь звезда черно-белого кино могла, наверное, накинуть на себя в перерыве между сценами.

Они курили, пили куний кофе и по-дружески переговаривались, просматривая газеты. ППЦ сначала понюхал кофе, потом сунул в чашечку язык и расхохотался, отчего мне захотелось его придушить. Никогда нельзя насмехаться над едой или напитками чуждой тебе культуры: это смертный грех. Понуро сидя над собственным кофе и тостом, я почти не слушал, о чем они говорили, отметив, правда, упоминания *le haschisch* и *les boat-people*.

О последних они заговорили, прочитав заметку в *L'Humanité*, которую тетка предпочитала всем прочим газетам (ППЦ больше любил *Libération*, но сказал, что *L'Humanité* тоже сойдет). Взяв газету, ППЦ указал на заголовок про беженцев в лодках и на фотографию плывущего по океану траулера, набитого моими соотечественниками, как вагон метро пассажирами в час пик. Однако пассажиру приходится терпеть неудобства всего лишь считанные минуты, а мои соотечественники терпели днями и неделями, не имея возможности укрыться от дождя, солнца, ветра, пиратов, которые то и дело подплывали к ним, чтобы выбрать себе груз поаппетитнее, и акул, потребительски глядевших на выставленные в витрине куски свежего мяса.

Очень печально, сказал ППЦ, очень размеренно и очень громко, нарочито медленно двигая губами. *И вы тоже. Лодочник. Как и они. Очень печально. У них нет ничего. У нас есть все. Нужно помочь им. Нужно помочь вам.*

Он ткнул в меня пальцем, будто бы одних его слов было недостаточно. Я выдавил из себя улыбку и сглотнул возмущение, у которого оказался кровавый привкус – не так уж и плохо, кстати, если вспомнить, как много людей обожают сочное, непрожаренное мясо. Он прямо-таки вспылал ко мне жалостью, но мне от этого не становилось теплее. Напротив, я весь кипел, и пока я, кое-как ему поддакнув, старательно молчал, из ушей у меня со свистом валил пар. Как ему сказать, что так называемые лодочники уже помогли себе сами, забравшись в эти лодки? Как сказать ему, что не надо звать меня «лё боут персон», этим сшибающим с ног именем, которое даже французы-англофобы и те позаимствовали и регулярно им пользовались, как и в случае с «ле джинс» и «лё уикенд»?

Не был я никаким лодочником, это все равно что сказать, будто английские переселенцы, бежавшие от религиозных гонений и приплывшие в Америку на «Мэйфлауэре», тоже были лодочниками. Тем беженцам просто повезло, что у коренного населения, которое еще не знало, во что вляпалось, не было камер, чтобы заснять приплывших к ним вонючих, оголодавших, небритых и завшивевших людей. Наши же страдания были теперь увековечены в *L'Humanité*, которая выставила нас кем угодно, но только не людьми. Нет, лодочники не были людьми, им не пришел на выручку какой-нибудь художник-романтик, который выписал бы их маслом: вот они гордо стоят на носу идущего ко дну корабля, смело глядя на свирепствующие силы природы с достоинством греческих героев, – под стеклом где-нибудь в Лувре, чтобы туристам было чем восхищаться, а искусствоведам – что изучать. Нет, лодочники были жертвами, объектами для жалости, навеки оставшимися на снимках в газете. В глубине души я, мамкин малыш, жаждал этой жалости. Но взрослый мужчина во мне жалости не желал, не заслуживал и не хотел, чтобы его считали или называли жертвой, тем более после всех моих поступков и проступков. Если нужно стать жалким для того, чтобы в тебе разглядели человека, к черту тогда эту человечность! Я ведь больной ублюдок – не забывайте об этом!

Но вместо этого я сказал: спасибо. Да, помогите им, пожалуйста.

ППЦ встал и начал прощаться, довольный тем, что указал и мне, и моему народу на наше жалкое место, да еще и вынудил меня сказать ему спасибо за то, что он до нас снизошел. Но тут меня осенило: пусть я нескладно говорю по-французски, а по-вьетнамски ему меня не понять, зато у меня свободный английский, а французу достаточно лишь услышать английскую речь, чтобы почувствовать себя ущемленным и прийти от этого в ярость. В душе каждого француза околачивается американец, который время от времени вежливым покашливанием напоминает французам об их совместной истории, начавшейся с того, что французы помогли жалким американским парвеню восстать против англичан, чтобы потом в итоге истошно звать американцев на помощь во время каждой мировой войны. А тут еще случился «Индокитай», что бы это слово ни значило, ведь мы не были ни индийцами, ни китайцами. Этот фантастический Индокитай утомленные французы и сбывли с рук теперь уже громко заявившим о себе американцам. Тяжело, наверное, глядеть на расцвет новой империи, понимая, что твоя собственная давно лежит в руинах! О да, в нашем случае английский язык был пощечиной, брошенной перчаткой, тем более что бросал ее я, не американец, а самый что ни на есть «индокитаец».

Поэтому я спросил, на идеальном американском английском: вы сказали, гашиш? А у меня как раз есть немного, и отменного качества.

ППЦ замялся, ничего такого он от желтого попугая не ожидал. Этот лошениый социалист, конечно, мог послать меня и по-французски, но желание доказать, что он тоже говорит по-английски, в конце концов победило. Да, вообще-то я как раз говорил вашей тете, что наш... поставщик... куда-то пропал.

Уже полгода как, и никого не предупредил, добавила тетка. По-английски она, как и ППЦ, говорила бегло, хоть и с очаровательной рябью французского акцента, но все равно не так хорошо, как я, ведь мне легко давалось самое американское восклицание – иииих-ххха! –

которое не давалось французам, разве что они очень сосредоточатся, чтобы не растерять все свои «хха». Наверное, что-то не заладилось у продавца, сказала тетка.

Ну или он ударился в религию, сказал я.

Это вряд ли, ответила тетка. Саид любил только деньги. Кстати, о деньгах, прости мне эту бестактность, но...

Нет, нет, нет, прервал ее я, инстинктивно сообразив, что такой человек, как ППЦ, политик, товар сам покупать не станет, по крайней мере у меня. Я вытащил квадратик фольги, которым Шеф попросил меня одарить тетку. Это – свет теткиной лампы упал на фольгу, заблестевшую отголосками молнии, – это подарок.

Глава 3

Вот это мигрень так мигрень! И дырки у меня в голове не имеют к ней никакого отношения, все дело в похмелье, тянувшемся с того самого утра, и тогда же принятом опрометчивом решении. Боже ты мой, Карл ты мой Маркс, Хо Ши ты мой Мин – что же я наделал? Как однажды сказал мне Генерал: все бесплатное стоит дорого. Истинная правда, особенно если учесть, что я совершенно бесплатно был ему верен и все равно шпионил за ним (да еще и Лану соблазнил, но не будем об этом). Я был его адъютантом, до падения Сайгона оставались считанные часы, а он, хоть и был за американцев, но говорил, что опасно рассчитывать на их помощь, которую американцы предлагали совершенно бесплатно и которая всегда обходилась очень дорого. В нашем южновьетнамском случае мы вели войну с коммунистами, как того и хотели американцы, бросившие нас в этой войне в самый трудный момент. Ладно, кто теперь будет платить за этот мой подарок – и сколько? И что же это получается, только-только об меня перестали вытирать ноги как о трижды беженца, как я снова стелюсь по полу? Я всего лишь хотел приучить ППЦ в будущем покупать гашиш у нас, даже если сами покупки придется делать тетке. Ему надо беречь репутацию, сказала она, закрывая за ним дверь. Он мэр Тринадцатого округа.

Тем лучше. Я уже ощущал соленый вкус мести, о да, мне хотелось ему отомстить, и пусть сам я за это буду расплачиваться жаждой и вонью изо рта. Но не превратит ли месть социалисту меня самого в отвратительного преступника? Не в торговца наркотиками, конечно, у этих-то просто беда со вкусом. А в капиталиста, у которого беда с этикой, тем более что капиталист, в отличие от торговца наркотиками, никогда не поймет, что поступает неэтично, а если и поймет, то никогда в этом не признается. Торговец наркотиками – просто мелкий преступник, который вредит отдельным людям, он может стыдиться этого или нет, однако вполне понимает, что ремесло его незаконно. А вот капиталист – узаконенный преступник, который вредит тысячам, если не миллионам людей, и за этот его разбой ему ни капельки не стыдно. Меня тут, наверное, понял бы один доктор Мао, и он и впрямь все понял так хорошо, что вскорости позвонил моей тетке и попросил поделиться с ним товаром, о качестве которого ему уже рассказал ППЦ. В отличие от ППЦ он не переживал за собственную репутацию. Его репутация, скорее всего, только вырастет, едва станет известно, что он курит гашиш.

Похоже, у тебя отличный товар, сказала она с легким упреком, повесив трубку. Я бы и сама не отказалась снять пробу.

Я что-нибудь придумаю, ответил я, и в распахнутые объятия моего мозга прыгнул план, с которым они уже давненько не виделись. Что до моей тетки, то у нее на меня были свои планы.

У меня есть друг, который преподает французский иммигрантам, продолжала она. Твой французский нужно освежить. Ты ведь наполовину француз, должен знать язык отца не хуже английского. Не будешь же ты всю жизнь работать в ресторане. Конечно, нет ничего плохого в том, чтобы работать в ресторане. Но ты способен на большее.

Я подумал о своей шпионской карьере, о своих планах и ухищрениях, идеалах и иллюзиях, решениях и промахах. Вся моя жизнь – шпиона и революционера – должна была стать ответом на один вопрос, доставшийся нам от этого авангардиста от революции, Ленина, вопрос, который с самого лица не давал мне покоя: ЧТО ДЕЛАТЬ? В моем случае я убил двух человек, которые были невиновны, ну или невиновны по большому счету, и я теперь был по большому счету виновен. Я убил обоих по приказу Генерала, который ошибся во мне настолько, что доверил мне должность сотрудника Особого отдела, задачей которого было искоренение коммунистов и диссидентов. Генерал так ни разу и не заподозрил во мне шпиона, ни пока мы жили в Сайгоне, ни после, когда я вместе с ним и его семьей бежал в Лос-Анджелес. Ман поступил верно, приказав мне отправиться с Генералом в Америку: Генерал и его люди про-

должат воевать оттуда, так и будут пытаться вернуть себе нашу родину и подавить революцию. Если бы шпионам давали награду за лучшую роль, она бы точно досталась мне, ведь я так втерся в доверие к Генералу, что убедил его, будто настоящим шпионом был мой коллега по тайной полиции, упитанный майор. И когда Генерал решил, что упитанному майору надо выдать билет на тот свет, он поручил мне этот билет доставить. Не я нажал на спусковой крючок револьвера, пока упитанный майор улыбался мне, стоя у своего гаража, – это сделал Бон, – но я был в ответе за его смерть.

Что до Сонни, второго человека, которого я убил, то с ним мы познакомились еще в шестидесятых, когда оба были иностранными студентами в Южной Калифорнии, только он был активистом-леваком, а я – коммунистом, который притворялся, что поддерживает правых. Сонни разумно остался в Калифорнии и стал журналистом – у нас на родине это было опасной профессией. Но наша страна настигла и его, когда мы вместе с Генералом бежали в Америку и Генерал решил, что Сонни завербован коммунистами. И снова Генерал назначил меня своим мальчиком на побегушках, и если бы я, его сверхкомпетентный адъютант и суперантикоммунист, отказался, то его параноидальное воображение и меня записало бы в подозреваемые. Я застрелил Сонни с близкого расстояния, и с тех пор их с упитанным майором призраки регулярно мне являлись, их голоса то и дело пробивались сквозь статические помехи на канале моего подсознания.

На большее? Мой смех показался странным даже мне самому. На что?

Тетка немного смутилась, ее комильфо быстро становилось моветоном. Ты хорошо пишешь, сказала она. Я почти дочитала твоё признание, осталось страниц тридцать – сорок.

Я ведь только вчера тебе его отдал.

Я редактор. Сплю мало, читаю быстро.

И что скажешь?

Скажу, что ты любишь мать. Скажу, что у тебя проблемы с женщинами. Скажу, что Ман сурово с тобой обошелся, но, наверное, у него не было выбора, да и мне кажется, что американская культура слишком уж тебя поработила. Ты вел опасную жизнь двойного агента и шпиона, да ты и сам говоришь, что ты человек с двумя лицами и двумя сознаниями. И я не знаю, в какое из этих лиц я гляжу сейчас. И можно ли тебе доверять.

Сказал бы я, что мне можно доверять, но я и сам себе не доверяю.

А вот это честный ответ. Ну и что же ты, человек, который умеет сочувствовать всем и каждому, велишь мне с тобой делать? Я открыла перед тобой двери своего дома, потому что ты мой товарищ по революции. Но ты ведь мне больше не товарищ, так ведь?

Ты же читала, что со мной сделала революция!

Я читала, что с тобой сделала революция. Но может быть, у революции тоже были причины тебе не доверять – скажешь, нет? Не слишком ли американцем ты был для нашей революции – да и остался? Даже нам во Франции, и тем грозит опасность превратиться в американцев. О, этот Американский Образ Жизни! Больше ешь, больше работай, больше покупай, меньше читай и еще меньше думай, пока не умрешь в бедности и страхе. Нет уж, спасибо. Ты что, не понимаешь, что именно так американцы и завоюют весь мир? Не только с помощью армии, ЦРУ и Всемирного банка, но еще и с помощью заразной болезни, которая зовется Американской Мечтой! Ты заразился ею, сам того не зная! Ты пристрастился к ней, и Ману пришлось тебя от нее лечить. Но так уж вышло, что ломка – процесс болезненный.

Я онемел. Она прочла мое признание и вычитала – вот это? Это что же, сказал я, выходит, я не прав, а революция правильно сделала, что меня наказала?

Как редактор я не могу не восхищаться методами Мана. Закурив, тетка улыбнулась. Вот бы все мои авторы могли столько написать в такие сжатые сроки. Согласись, его строгость даже вызывает уважение.

Я, сочувствующий всем и каждому, больше всего на свете хотел, чтобы кто-то посочувствовал мне. Я думал, что уж моя тетка будет ко мне добрее, чем тот, для кого я занимался шпионажем в Америке, он же – комиссар лагеря, куда меня потом интернировали, человек без лица, он же – мой лучший друг и кровный брат Ман, которого залетная напалмовая бомба лишила почти всего человеческого. Ман мне очень сочувствовал. Он меня хорошо знал, лучше всякого священника или психоаналитика, но воспользовался этим знанием, чтобы меня пытаться и допрашивать. В отличие от Мана, тетка, скорее всего, не станет меня пытаться. Но если и она не могла меня понять, то кто может?

Принесу-ка я еще гашиша, сказал я.

Увидев меня в пятом часу вечера, геморройный клерк болезненно хрюкнул. Он чиркнул спичкой, и вспышка пламени, присвист ее затяжного, короткого вдоха зажгли что-то во мне в тот миг, когда клерк зажег сигарету – фитилек плана, пороховую дорожку в детском мультике, ведущую к взрывной развязке.

Можно поговорить с Шефом?

А он с тобой хочет говорить?

Просто передай, что у меня к нему предложение.

Шеф продержал меня под дверью битый час, чтобы я накрепко усвоил, где мое место – мой стул – у него в приемной. По крайней мере здесь, во Франции, можно ждать, сидя на стуле, а не на корточках, полагаясь на крепость бедер, которые вечная нехватка стульев делает только сильнее. Сколько раз я видел, как мать сидит на корточках, упершись ногами в землю и слегка подавшись вперед, чтобы легче было удерживать равновесие, тем более что на спине у нее болтался я. Она могла сидеть на корточках часами, не имея возможности поменять позу, в которой западный человек не просидел бы и минуты. Она меня укачивала и баюкала, пела мне колыбельные, а когда я подрос, рассказывала поговорки и сказки, читала стихи, и все это время мы с ней были склеены тонкой пленочкой пота. Дожидаясь чего-нибудь или кого-нибудь, я всякий раз вспоминал, с каким бесконечным терпением она все это сносила, не ради того, кто заставлял ее ждать, а ради меня, которому всегда приходилось ждать вместе с нею. Когда я стал для нее слишком тяжел, мы сидели на корточках бок о бок, вместе с остальными народными массами. Затем я пошел в лицей и там влился в толпу учеников, которые более не сидели на корточках, а заслужили право сидеть на стульях.

Когда меня наконец вызвали к Шефу, ягодички у меня слегка побаливали от твердого блюдечка пластмассового стула, эргономически разработанного для круглых западных ягодичек, а не для плоских азиатских. Шеф сидел в мягком кресле за пустым столом и изучал гроссбух. Ходили слухи, что он так и не получил никакого образования, кроме уличного, а если улица его чему-то и не научила, то он научился этому сам. У меня сжималось сердце, стоило мне представить, кем этот бедный, брошенный сиротка, с его-то талантами и амбициями, мог стать, получи он полноценное образование:

Управляющим инвестиционного фонда!

Президентом банка!

Лидером индустрии!

Или, если свериться с моим марксистским словариком:

Капиталистическим стервятником!

Кровопийцей!

Отмывателем прибылей, сцеженных из народного пота!

Я больше не был коммунистом, верившим в партию, но все равно вел свой отсчет от Маркса, который верил в теорию, а лучшей критики капитализма, чем эта теория, было не найти. Ждать, что капиталисты будут критиковать сами себя, – все равно что просить охранку себя охранять...

В чем дело? – спросил Шеф. Очухайся уже, больной ублюдок.

Извините, я... пробормотал я, а может, и мы со мной.

Копи-лювак принес?

Когда я положил пачку на стол, он довольно кивнул, а затем погрузился в изучение анатомии кофейного зерна, вскрыв канцелярским ножом его белое брюшко. Шеф удовлетворенно отложил нож и спросил: ну, что еще?

Гашиш...

Он рассмеялся и откинулся на спинку кресла. Что, хороший товар?

Говорят, хороший. Сам не пробовал.

Молодец. Есть вещи, которые лучше не покупать и не пробовать.

Я увидел, как с пылом, достойным маркетолога, впариваю ему историю про ППЦ и доктора Мао. Я дал им попробовать товар, услышал я свой голос. Болтик мой в этот момент болтался на честном слове, и я отлетел достаточно далеко, чтобы увидеть, как становлюсь тем, кем я давал себе слово никогда не стать, – капиталистом.

Интересно, сказал Шеф, сложив пальцы домиком. Впрочем, неудивительно. Совсем неудивительно. Мой товар даже таким людям по вкусу.

Они ведь люди. Всего лишь люди.

Вот именно! Судя по его улыбке, Шеф прямо-таки пришел в восторг. Даже французы – и те всего лишь люди. И богатые. Особенно богатые.

Не знаю, богатые ли эти. Они интеллектуалы.

Руками не работают – значит, богатые. У политика точно есть денежки. Я про него слышал. Он заправляет этим округом. Ничем не лучше других политиков. Все они скользкие социалисты да икорные коммунисты.

Полностью согласен, сказал я, включив заправского подпевалу.

Но даже если ты не политик, не интеллектуал – он развернул ладони в мою сторону, чтобы я видел всю карту его трудов, все шрамы и мозоли его личной географии, – это еще не значит, что, работая руками, нельзя разбогатеть.

Это новый шанс. Новый рынок.

Расти или сдохни. Я так думаю.

Это хорошая философия.

Он оглядел симметричные беленькие кутикулы своих ногтей, которые ему наманикюрили в его же салоне, затем снова посмотрел на меня. Если глаза – зеркало души, то у него эти зеркала были задернуты плотными занавесками. И чего ты хочешь?

Я-то хотел мести, но, отстраненно глядя на себя, как на совершенно незнакомого мне человека, я только и услышал, как говорю: с вас товар, с меня сбыт.

Он назвал цену товара – за грамм. Я разъяснил ему, что я вообще-то беженец и черно-рабочий – не то чтобы он устроил меня на плохую работу, всем беженцам надо ведь с чего-то начинать, и начинаем мы обычно в глубокой жопе, где нам раздают поджопников – к вящему веселью граждан страны нашего пребывания. В общем, для приобретения товара у меня нет средств. Вместо того чтобы вкладывать свой несуществующий капитал в его товар, я предложил ему другой капитал по бартеру, социальный: с меня доступ к теткинским друзьям, с него товар. Я расширю его рынок сбыта и принесу ему прибыль, которой он иначе не получит, а прибыль, после вычета стоимости товара, мы с ним делим пятьдесят на пятьдесят.

Занавеска дернулась. Тридцать процентов.

Сорок.

Его это позабавило. Двадцать пять.

Непросто торговаться с человеком, который может вытащить из ящика стола молоток и без всяких сожалений или колебаний раздробить тебе пальцы или коленные чашечки. Ну это вы не поспешили, сказал я. Шеф кивнул на дверь и за товаром велел идти к Лё Ков Бою. На

прощание он сказал: даже не знаю, то ли ты не такой уж и больной, раз хочешь это повернуть, то ли больной на всю голову.

Я не больной.

Больные все так говорят.

Теперь, когда я об этом думаю, мне, как и тебе, наверное, становится ясно, что установившееся меж двумя моими сознаниями равновесие, и без того хрупкое, слишком уж сместилось вправо, где я мог только смотреть, как растет мое ячество – верная примета капитализма. Был ли я и в самом деле больным, как утверждал Шеф, да и не он один? Может, я и правда болен на всю голову или на небольшую ее часть, а может, у меня просто есть свои недостатки. Да, у меня есть недостатки, они у всех у нас есть, даже у тебя, но свои недостатки я могу объяснить тем, что всю жизнь желал лишь одного – быть человеком. Это и стало моей первой ошибкой, ведь я и так уже был человеком, о чем, кстати, не все догадывались. Может, и Саид хотел из торговца наркотиками превратиться в человека, а может, он был умнее меня, воспринимал свою человеческую природу как нечто само собой разумеющееся и стал торговать наркотиками, потому что ему не надо было никому ничего доказывать. Теперь он исчез и оставил открытым окно возможностей, рыночную нишу. Кто-нибудь все равно эту нишу заполнит. Так почему не я?

В ресторане меня уже ждал ответ на мой риторический вопрос, квадратный сверток размером с крок-месье, завернутый в коричневую бумагу и перевязанный веревочкой. Подтолкнув сверток ко мне, Лё Ков Бой сказал: я рад, что ты теперь с нами. Лицо его было статуарным в своей невозмутимости, в линзах очков плавали тусклые призраки меня со мной. Я с таким же невозмутимым лицом забрал сверток, сунул его в карман куртки, и он привалился к моему бедру с терпеливостью пистолета, точно знающего, что рано или поздно он все равно пригодится.

Сидевший за столиком Бон следил за этим обменом, с точностью химика разливая по бутылкам соевый соус, – в зале он был единственным посетителем. Надеюсь, умник, ты знаешь, что делаешь, сказал он.

Конечно, не знаю, ответил я, пытаюсь своим легкомысленным тоном убедить его, что знаю, конечно, хоть я и, конечно, не знал. И французский заодно подтяну, добавил я. Совместная интоксикация развязывает языки.

В школе можешь свой французский подтягивать.

Да, но ты сам мне говорил, что в книжках всего не пишут.

Я тебе скажу, чего еще в книжках не пишут, вмешался Лё Ков Бой. Шеф ожидает дивидендов минимум процентов двадцать. Он не любит тратить время зря. И товар тоже. Короче говоря, уж постарайся, чтобы эта твоя маленькая инвестиция окупилась.

Эй, новенький, заорал с кухни Соня. Туалет сам себя не помает!

Когда я вышел из худшего азиатского ресторана в Париже, в ушах у меня звенел хохот Сони, от рук воняло хлоркой, а во рту был привкус желчи. Заглушить этот привкус можно было только хорошим глотком мести. Я не буду подобострастной азиатской мишенью для жалости, презренным или вежливым несмышленишем-беженцем, который согласится начать все сначала, учить язык хозяев...

Эй, ты!

...обслуживать столики, драить тарелки, быть мальчиком на побегушках...

Эй!

...или сантехником...

Эй!

Я замер. Казалось, кто-то громко и строго обращается ко мне, хоть я не был единственным, кто обернулся на голос. Все вокруг так и завертелось при виде шагнувших в нашу сторону полицейских, один из которых тыкал пальцем в меня. Я сразу понял, в чем дело. Кое-что передавало сигнал по невидимым волнам. И даже если сверток у меня в кармане молчал, это вовсе не значило, что ему нечего сказать. Нет, он излучал самоуверенность и даже легкую угрозу, как это всегда бывает с ценными вещами. Сверток имел надо мной власть и знал об этом. Конечно, я мог его выбросить, уничтожить его самыми разными способами, и он никак не мог мне помешать – разве что одним своим существованием.

ТЫ!

Полицейские внезапно перешли на бег, и мое тело с разумом вдруг успокоилось, готовясь к худшему. Тот же покой охватил меня в лодке, когда она взмыла к небу на гребне волны. *Гашиши*, шептал сверток у меня в кармане, не зная ничего, кроме своего имени. *Гашиши*. Я знал, что он во всех смыслах ценнее меня. У него была цена, которую люди готовы были за него заплатить, а вот моя жизнь не имела почти никакой ценности. Никто не заплатит за меня того, что можно заплатить за лежащий у меня в кармане товар, и поэтому я теперь у него в долгу. Но только я хотел вскинуть руки, чтобы сдать их и ему, и полиции, как они пронеслись мимо – один с одного бока, другой с другого – так близко, что задел меня рукавами.

ТЫ!

Так они все-таки кричали не мне, а какому-то разобранному мужику с такими грязными волосами и немывтым лицом, что нельзя было определить ни его расу, ни национальность – французский идеал, да и только. Каждый может стать французом, даже бомж!

Один полицейский выхватил пивную банку из рук растерявшегося бомжа и отшвырнул его к стене. Второй пнул его ногой в седалище, так что тот чуть не упал, пока остальные добропорядочные граждане – и я вместе, конечно же, со мной – стояли и смотрели на происходящее. Когда первый полицейский запустил в бомжа пивной банкой, забрызгав его с ног до головы, что, казалось, прямо противоречило их намерению сделать его менее неприглядным для глаз парижан, я и сам отвел глаза и молча зашагал дальше.

Вечером мы с теткой курили превосходнейший гашиш, пили превосходнейший о-медок и слушали превосходнейший американский джаз, чернорабочую музыку, которую так любят французы, отчасти из-за того, что каждая сладостная нота напоминает им об американском расизме и, что очень кстати, позволяет не думать о своем. Поскольку я тоже был чернорабочим, по крайней мере с виду, Нина Симон, поющая «Mississippi Goddam» была для меня идеальным аккомпанементом.

Да и у тетки, которая как раз дочитала мое признание, было тоже темно на душе. Ее так и не тронуло то, что меня год держали в тюрьме на голодном пайке вместе с тысячей зловонных соузников, заставили писать и переписывать признание, а затем, в качестве *coup de grâce*, засунули в одиночную камеру – голого, с мешками на голове, руках и ногах – и время от времени били слабым разрядом тока, из-за чего я не знаю сколько времени не мог заснуть и в конце концов перестал отличать собственное тело от окружающего пространства, само время утратило для меня значение, пока на меня лился шквальный звуковой огонь из записанных на пленку младенческих воплей, чтобы я наконец сумел выдержать последний экзамен.

Тетке стало не по себе, когда она добралась до этого экзамена, и она все повторяла и повторяла вполголоса его единственный вопрос:

Что дороже свободы и независимости?

Как и полагается истинной революционерке, тетка уже знала ответ, самый известный лозунг Хо Ши Мина, волшебное заклинание, которое подвигло миллионы на восстание и

смерть, все ради того, чтобы выставить сначала французов, а затем американцев, объединить и освободить нашу страну. Пробормотав этот вопрос, она, будто клятву, продекламировала ответ, который именно так и должен был звучать:

Ничего не бывает дороже свободы и независимости!

И затем снова повторила, но уже повысив интонацию к концу фразы, будто задавая вопрос:

Ничего не бывает дороже свободы и независимости?

Именно что бывает, печально отозвался я, покачивая головой и совершенно безвозмездно сообщая ей урок, который я усвоил столь огромной ценой. Ничего и вправду бывает дороже свободы и независимости.

Нет, нет, нет! Что может быть дороже свободы и независимости? Ничего!.. То есть свобода и независимость дороже, а не наоборот!

Ты ведь прочла мое признание. Я вздохнул, а затем так глубоко затянулся угашенной сигареткой, что у меня зашипело в легких, а повалившийся изо рта дым напомнил, что все осязаемое когда-нибудь да растворится в воздухе. Неужели ты не поняла ничего?

Заткнись! – крикнула она. Дай сюда сигарету.

Неужели ты не поймешь ничего после гашиша?

Нет. После твоего признания ничего вообще не понятно.

Конечно, понятно. Ты просто, как и большинство людей, отказываешься понимать, что такое «ничего». А вот если бы тебе, как и мне, пришлось пройти через перевоспитание, да еще под присмотром такого искусного теоретика революции, как Ман, ты поняла бы, что «ничего» есть противоречие, как и всякое осмысленное понятие – любовь и ненависть, капитализм и коммунизм, Франция и Америка. Дурак всегда видит только одну сторону в этом противоречии. Но ты же не дура.

Ненавижу тебя, простонала она, не открывая глаз. И зачем только я с тобой связалась?

Вообще, если вдуматься, это все очень смешно. Почти так же смешно, как самая смешная фраза в моем признании, которую, кстати, сказал не кто-нибудь, а сам Ман, и эту фразу хорошо бы выбить на памятнике Хо Ши Мину, не знаю, конечно, есть ли у него памятник. Фраза эта, правда, непечатная, как и всякая правда: «Хватит французам и американцам нас наебывать, теперь мы вошли в силу и вполне можем...»

И вполне можем наебывать себя сами, закончила она.

Я взвыл от смеха, замолотил себя по коленке и оросил щеки слезами. Этот гашиш действительно что-то с чем-то! Да ну, брось, сказал я, отсмеявшись. Неужели не смешно?

Нет. Она затушила сигарету. Не смешно.

Хрипели трубы, перед глазами у меня все плыло, и, поглядишь я тогда в зеркало, увидел бы, наверное, удвоенного себя, или нас двоих, не черного и не рабочего, а желтопузого с коммунистом.

Ты ведь раньше верил в революцию, сказала она. Есть ли хоть что-то, во что ты веришь теперь?

Ничего, ответил я. Но ведь это уже что-то.

Значит, будешь торговать наркотиками.

Ну-у, пробормотал я. Даже витая в облаках гашиша, я отчасти разделял ее презрение. Это лучше, чем ничего.

Тетка встала с дивана и выключила проигрыватель. Пока ты был революционером, твое бесплатное здесь проживание можно было счесть моей помощью революции и проявлением веры в революционную солидарность, сказала она. Гашиш сделал ее удивительно красноречивой, хотя, быть может, в ней говорила ее пламенная страсть. Но если ты будешь торговать наркотиками...

Осуждаешь меня за аморальность?

Я никого не осуждаю. Это я ведь курю гашиш. Кроме того, из преступников иногда выходят отличные революционеры, а революционеров судят как преступников. Но если ты больше не революционер и собираешься торговать наркотиками, спать у меня на диване и просить, чтобы я и дальше держала твоё коммунистическое прошлое в секрете от Бона, значит, и прибыль тоже можешь со мной поделиться.

Я и без того под воздействием гашиша сидел с полуоткрытым ртом, а теперь у меня и вовсе челюсть отвисла.

В чем дело? – спросила она, закуривая очередную сигарету с гашишем. Для тебя это слишком противоречиво?

На следующее утро, шагая от метро к дому доктора Мао, я во второй раз менее чем за двенадцать часов испытал чувство дежавю (как странно, что даже мои психические тики или сбои, и те носили имена на языке хозяев). В первый раз это случилось, когда я предложил тетке разделить прибыль пятьдесят на пятьдесят, на что она ответила: шестьдесят на сорок, – и я был вынужден согласиться на эти условия. Второй раз – когда я шел по улице, где жил доктор Мао, с жутковатым ощущением, что уже был здесь когда-то, потому что его улица напомнила мне сайгонские бульвары, точнее, это сайгонские бульвары напоминали такую вот улицу. Французы спроектировали Сайгон в духе османовского Парижа: с широкими дорогами, просторными тротуарами и тенистыми аллеями, с элегантными многоквартирными зданиями – этажей в шесть – семь, не больше, – которые были украшены балкончиками и увенчаны мансардами, где в августовский зной жарились художники и нищелюбы, что у нас в Сайгоне можно было делать круглый год. О, Сайгон, Жемчужина Востока! Вроде бы так его окрестили французы, и это ласковое прозвище вслед за ними переняли и мы сами, ведь малые народы превыше всего ценят лесть, которая им так редко перепадает. Но иногда мы были не только Жемчужиной Востока, а иногда Жемчужиной Востока были не только мы. Гонконгские китайцы утверждают, будто их порт и есть настоящая Жемчужина Востока, а когда я был на Филиппинах, то филиппинцы настаивали на том, что Жемчужина Востока – их Манила. Колонии были жемчужным ошейником на алебастрово-белой шее колонизатора. Бывало и так, что Жемчужина Востока становилась Восточным Парижем. И парижане, и французы, и все кто угодно считали это за комплимент, комплимент выходил сомнительный, но других у колонизаторов и не водится. Ведь в качестве Восточного Парижа Сайгон был всего лишь дешевым подражанием высокой моде.

Я все сильнее и сильнее вскипал от негодования, еще немного, и у меня пошла бы пена изо рта, но тут Париж прилипчиво напомнил мне, что кое в чем Сайгон его превосходит. Чвяк! Я остановился и с ужасом, сменившимся отвращением, поглядел на подошву своего ботинка. У ни в чем не повинного пешехода в Сайгоне нет никакой возможности наступить в собачьи экскременты, ведь статистическая истина такова, что мы предпочитаем есть собак, а не держать их дома, а если уж держим, то не позволяем болтаться на улицах, чтобы их, не дай бог, не съели. *Vive la différence!* Здесь же, в Париже, собакам предоставлена полная свобода действий, они бегают везде и справляют свои дела где хотят. В моем случае какой-то парижский дегенерат-собаковод, каких тут сотни и тысячи, оставил подарочек прямо у входа в дом маоиста-психоаналитика. Отгиск моей подошвы отпечатался на вязкой коричневой кучке, словно в ожидании лупы какого-нибудь сыщика. Сколько бы я ни возил ногой по цементу, убрать эту дрянь из бороздок на подошве так и не удалось. Я сдался, нерешительно занес руку, чтобы позвонить в квартиру доктора Мао, и тут вспомнил первый урок капитализма, который никак не могли выучить вьетнамцы: никогда не опаздывай. Я нажал на кнопку звонка.

В крохотном лифте, где могло поместиться не более трех взрослых среднего французского телосложения, или четверых вьетнамцев среднего вьетнамского телосложения, или при-

мерно три с половиной еврозиата вроде меня, вонь от ботинка давала о себе знать. Я старался не наступать этой ногой на пол, и когда доктор Мао открыл мне дверь, я так и пошел, прихрамывая, сказав, что подвернул ногу. Я не виноват, что французы не такие цивилизованные люди, как азиаты, которые небезосновательно считают, что дома нельзя ходить в уличной обуви. В этом отношении французы так и остались в средневековье.

You have a beautiful apartment, выстрелил я в него очередью английского, после того как он поприветствовал меня очередью французского. Немного поколебавшись, он все-таки ответил на английском. Как и ППЦ, он не мог упустить шанса доказать кому-то вроде меня, что тоже владеет имперской лингва франка нынешнего времени. Как и ППЦ, доктор Мао говорил по-английски хорошо, но с акцентом. И поскольку по стенам у него висели афиши фильмов – «Глубокий сон», «Головокружение», «Кинг-Конг» и «Франкенштейн», – он явно понял, как безупречно говорю я. Зеркала в позолоченных рамах размерами превосходили двери, мебель сияла гляncем старины, турецкий ковер был узорчат, а под ногами стонал паркет. Подходящая обстановка для жилища восемнадцатого века с деревянными перекрытиями и высокими потолками – для лучшей циркуляции воздуха, чтобы деятельный мозг не перегревался.

Я почти простил его за то, что он французский интеллигент, когда он плеснул мне на два пальца пятнадцатилетнего скотча с таким гэльским названием, что я не мог его ни написать, ни выговорить. Закрыв глаза от наслаждения, я крутил и вертел этот волшебный эликсир своим поиздержавшимся языком, которому здесь, в Париже, вино перепадало чаще крепкого алкоголя. Я с радостью протянул маоисту товар, а тот, щедрая душа, тотчас же скрутил купленное в сигаретку и с братским коммунистическим пылом предложил угоститься и мне.

Впрочем, вы, как я понимаю, коммунистов ненавидите, сказал доктор Мао, закуривая. Я был ему признателен за этот аромат, скрывший источник вони в комнате, которым был я. Ваша тетя рассказывала, что вы пережили в исправительном лагере.

И я снова вернулся к своей неизбежной роли, к своему амплу антикоммунистического патриота Южного Вьетнама, которое было моей шпионской легендой. Как же мне надоело вечно играть реакционера! Я не мог назвать себя коммунистом, но разве это мешает мне быть революционером? Одна неудавшаяся революция не означает смерть революции как таковой. Мне не хотелось объясняться перед теткой. Для нее и для самопровозглашенных революционеров вроде меня само слово «революция» было волшебным, вроде слова «Бог», сразу перекрывавшего некоторые ходы мысли. Мы верили в революцию, но что есть революция? Неужели действительно – ничего? Я хотел, чтобы для нее это значило ровным счетом ничего, и мне самому не хотелось ничего упустить, потому что я сам еще толком не понимал, что это такое, – знал только, что это по-своему тоже революционная мысль. И вот теперь мне, революционеру без революции, пришлось придумывать себе новую историю. Под влиянием отличного скотча и не менее отличного гашиша – рекомендую, кстати, это сочетание – я сказал: вы, конечно, удивитесь, но я не испытываю ненависти к коммунистам. Считаю ли я, что они заблуждаются? Да. Но их стремление к революции – это я могу понять.

Вы даже не представляете, как я разочарован итогами вашей революции, сказал доктор Мао. Опять то же самое, что было при Сталине. Крушение коммунистических идеалов! Вместо того чтобы возвысить народ, партия и госаппарат возвысились над народом. Мы, то есть левые, протестовавшие против войны, которую развязали у вас в стране американцы, надеялись, что ваша революция уничтожит американскую империю. Но американская империя выстояла, и истинно коммунистическое общество так и не было построено.

Может, что-то не так с теорией, если ее нельзя применить на практике, сказал я.

Но ее еще никому не удалось применить на практике. К сожалению, для истинного коммунизма пока нет подходящих условий. Вначале капитализму нужно одержать мировую победу, а затем – окончательно деградировать, чтобы коммунизм мог его низвергнуть. Рабочие всего мира должны осознать, что капитализм заинтересован лишь в прибыли, до них ему и

дела нет, и что стремление к максимальному увеличению прибыли приведет к их неизбежному закабалению. Смотри «Капитал» Маркса, том первый.

И когда же случится этот триумф капитализма?

Доктор Мао выдохнул облачко дыма. Капитализм поглотит еще целые континенты, прежде чем мы увидим настоящее восстание угнетенных масс. Взять вот, к примеру, Африку. Капиталисты разграбили Африку – сначала увезли рабов, затем ресурсы. Капиталисты и дальше будут эксплуатировать Африку, и с еще большей жестокостью. Дешевая рабочая сила для производства дешевых товаров должна ведь откуда-то взяться, и затем этим же самым рабочим придется покупать дорогие импортные товары, сделанные из сырья, которое было вывезено из их страны. Ох уж этот вечный двигатель капиталистической фантазии! Но стоит его запустить, и на свет появляется пролетариат, а за ним – средний класс, и даже если каким-то беднякам и удастся выкарабкаться из нищеты, пропасть между классами становится все шире и шире, потому что богатые богатеют гораздо быстрее, чем бедняки перестают быть бедными. Этот неизбежный процесс есть часть самого капитализма, следовательно, капитализм одним своим существованием создает условия для революции.

А вам хоть раз доводилось пережить революцию? – спросил я.

В мае шестьдесят восьмого, с гордостью ответил доктор Мао. Я никогда не забуду, как студенты по всему миру практически перевернули мир, пока не столкнулись с тем, что Альтюссер – мой учитель, Луи Альтюссер – назвал Репрессивным Государственным Аппаратом. Я учился у него в докторантуре и при этом дежурил здесь, на баррикадах. Даже, признаюсь, кинул пару-другую булыжников. Наш друг, будущий ППЦ – тогда его еще никто не звал по инициалам, – поступал так же. Полицейские – точнее, представители Репрессивного Государственного Аппарата – били нас и поливали слезоточивым газом. Никогда не забуду удар полицейской дубинки! Эта дубинка преподала мне урок, не хуже того, что я усвоил, изучая теорию и философию. Эта дубинка овеществила для меня то, о чем Беньямин – Вальтер Беньямин – писал в статье «К критике насилия», что легитимная основа государства не законы, а насилие. Государство стремится монополизировать насилие, монополия насилия объявляется законом, и закон уже узаконивает сам себя. Полиция существует не для того, чтобы защищать нас, простых граждан, а для того, чтобы защищать государство и власть закона. Вот поэтому-то достойным ответом на удар дубинки может стать только революция! И студенческие революции по всему миру, от Токио до Мехико, были отголоском революций в Алжире и Вьетнаме, где алжирцев и вьетнамцев поджидали уже не дубинки, а пули. Вьетнамцы восстали против монополии на насилие, какой является колонизация! И, восстав, показали всем, насколько колонизация незаконна в принципе. Они сражались не только с Репрессивным Государственным Аппаратом, но и с тем, что Альтюссер назвал Идеологическим Государственным Аппаратом, который заставляет нас верить в законы, написанные вопреки нашим интересам! Иначе с чего бы тогда рабочим верить в то, что капитализм им выгоден? С чего бы колонизированным народам верить в превосходство белого человека? Удар той дубинки подтвердил, как правдивы были призывы Че Гевары: нужно, чтобы на планете возникло два, три Вьетнама, сотни Вьетнамов.

Но в нашей войне погибло как минимум три миллиона человек, медленно произнес я, пока мой затуманенный мозг пытался выполнить простейшую математическую операцию. Если умножить три миллиона на сотню... получится...

В этой точке моим когнитивным способностям пришел конец, потому что я не мог умножать страдания до такой степени. Я не знал, хочется ли мне смеяться, плакать, кричать или сдаться в психушку. Я тоже верил во все, о чем он говорил, но я, в отличие от доктора Мао, пережил и революцию, и ее последствия. Не только капитализм создавал фантазии при помощи Идеологических Государственных Аппаратов и всем их навязывал при помощи Репрессивных Государственных Аппаратов – но и коммунизм тоже. Разве исправительный лагерь не был тем же самым Репрессивным Государственным Аппаратом, существовавшим лишь для

того, чтобы выполнять работу Идеологического Государственного Аппарата? Исправительному лагерю надлежало превратить заключенных в людей, которые, даже оставаясь рабами, клялись бы и божились, что они свободны, а сломавшись, утверждали бы, что родились заново. Че Гевара и доктор Мао видели вьетнамскую революцию издалека, при полном параде, а я видел ее совсем рядом, в чем мать родила. Может, и стоило, конечно, отдать три миллиона жизней во имя революции, хотя обычно так говорили те, кто остался в живых. Три миллиона человек погибло за эту революцию! Мы просто-напросто поменяли один Репрессивный Государственный Аппарат на другой, с одной только разницей, что теперь этот аппарат был наш собственный. Наверное, маоисты вроде моего доктора считали, что, прежде чем подняться, нужно упасть на самое дно. Может, в этом-то и была моя проблема: я думал, что мы, вьетнамцы, упали на самое дно еще при французах, но оттуда нам постучали с другого дна, американского, и в итоге оказалось, что под ним было еще одно дно – уже наше собственное.

Поэтому-то мне и нужен был виски или кто-то из его родственников, чтобы эта жизнь была пригодна для жизни, однако, взглянув на свой стакан, я увидел, что он уже пуст. Доктор Мао кайфанул и слегка расслабился, позабыв о светских условностях, и, вместо того чтобы наполнить мой пересохший сосуд, сказал: и раз уж речь зашла о преступниках, никогда раньше не видел вьетнамского торговца наркотиками.

Мне нравится считать себя законодателем мод.

Может, это все твои евразийские корни.

Это все мои евразийские корни, что же еще.

У вьетнамцев дела здесь идут очень хорошо.

Правда?

Они все врачи, юристы, деятели культуры. Им не нужно торговать наркотиками, и, кстати, может быть, их законопослушность объясняется тем, что стремление к честному труду – часть их культурного кода?

Это у нас в крови.

А может быть, вся ирония в том, что местные вьетнамцы оторваны от своей среды и поэтому им не надо ни употреблять наркотики, ни торговать ими. В конце концов, история ведь знает много примеров погони за интоксикацией: у китайцев был опиум, у арабов – гашиш.

Я не был ни китайцем, ни арабом и потому не совсем понимал, какое отношение этот коан имеет ко мне, пришлось немного подумать, прежде чем я нашелся с ответом: а что есть у Запада?

У Запада? Доктор Мао улыбнулся. У Запада есть женщины, если верить Мальро.

Я улыбнулся ему в ответ, и какое-то время мы так и улыбались друг другу.

Ладно, сказал я. Наверное, я возвращаюсь к своим европейским корням.

А я всегда говорю студентам, что они должны быть первыми в своем роде.

Ну, значит, я тогда настоящий оригинал, сказал я, возя подошвой по его турецкому ковру. И чем хуже я буду себя вести, тем лучше.

Глава 4

Когда тетка ушла спать, я уселся на диване вместе с двумя моими новыми друзьями – деньгами и гашишем. Унять гашиш, чтобы он перестал хихикать и шушукаться, можно было только одним способом – немного его покурить, после чего и он, и я наконец расслабились. При тусклом свете единственной зажженной лампы – старье еще древнее меня – я разглядывал стопку заработанных сегодня банкнот, от которых тетка уже отняла свои шестьдесят процентов и от которых Шефу еще предстояло отнять семьдесят пять. Мне оставалось всего ничего, но действительно ли я заслуживал всего ничего? Ведь я только обменял гашиш на деньги, а перед этим отдал Шефу кое-что в обмен на гашиш. Я отдал ему часть себя.

Чем дольше я глядел на франки, тем более нереальными они мне казались. Как так вышло, что каждая эта бумажка стала чуть ли не сильнее человека, и как так вышло, что все эти бумажки стали ценнее человека? Я ведь ни одной из этих бумажек не смогу причинить вреда, так же как и не смогу причинить вреда человеку.

Вообще-то... сказал призрак Сонни.

Если быть точным... сказал не менее призрачный упитанный майор.

И правда. Я убил их обоих, а деньгам я в жизни ничего плохого не сделал, разве что складывал пополам. Я ни разу не оторвал краешка у банкноты, как дети порой отрывают крылья пойманным мухам. Я ни разу не поджег даже самой мелкой купюры, чтобы посмотреть, как она будет гореть, подобно тому американскому мальчишке, который однажды у меня на глазах при помощи пластмассовой лупы испепелил муравья. Сообща деньги были неуязвимы. А по отдельности банкноты вроде тех, что оказались в моем распоряжении, защищал своего рода ореол неуязвимости – так же, например, как и каждый отдельный коп представлял собой весь Репрессивный Государственный Аппарат. Вот как повлияла на меня магия почти невесомых бумажек, лежавших в моей руке.

Быть может, новая работа помогла мне вновь ощутить необъяснимую власть денег. Раньше мне платили только за солдатскую службу, которая – не всегда на практике, но хотя бы в теории – считалась достойным занятием. За шпионаж я не брал денег, веря, что даже моя жизнь не дороже свободы и независимости. Но теперь я продавал гашиш, и в этом занятии не было ни благородства, ни достоинства – один я это понимал, а другому мне было плевать. И что такого? Я всю жизнь постоянно, отчаянно во что-то верил и всякий раз оставался ни с чем. Может, хоть теперь у меня будет все ничего.

И все-таки – что сказала бы мама о моей новой карьере? Я старался не думать о том, как сильно я бы ее разочаровал. Она всегда относилась ко мне со всей душой, а я в эту душу ей только наплевал. Зато стоило мне представить, что сказал бы отец, как меня переполняла радость. Вот он я, на родине отца, травлю отчизну наркотой с Востока – впрочем, невелика расплата за то, что его страна потравила мою западной цивилизацией.

Мой предшественник в деле поставок гашиша, таинственный Саид, здорово облегчил мне работу, выстроив за десяток лет внушительную сеть постоянных покупателей – самым давним его клиентом был как раз доктор Мао. Саид никогда не нашел бы работу с именем Саид, сказал мне на прощанье доктор Мао. В смысле, какую-то осмысленную работу. Тут дело – пустяк, имя поменять, но он ни в какуюю.

Доктор Мао считал себя не просто клиентом Саида, а его покровителем, который помог этому юноше обрести финансовую независимость, познакомив его со своими весьма дружелюбно настроенными приятелями, коллегами, студентами и бывшими студентами. Теперь же, с помощью тетки и доктора Мао, новости о качестве моего товара и скорости доставки разлетелись по всей сети.

Я был им в новинку – евразийский фармаколог черного рынка, полувьетнамский торговец отчасти полезным и отчасти опасным товаром, который был не так уж и хорош, но и не так уж плох. Несколько недель подряд я развозил товар с беззаботным видом законопослушного гражданина, в полной уверенности, что полицейские азиатов особо не разглядывают – по крайней мере, Лё Ков Бой был в этом уверен. Он объяснил мне, что арабы и черные, сами того не желая, оказали нам услугу, став для нашей расы подсадными утками и отвлекая на себя внимание полиции, для которой они все были на одно лицо с гашишем – такие же коричневые, липкие и ароматные.

Я поглядел в окно на прохожих и спросил: а как узнать, кто араб, а кто нет?

Как узнать? Глазами узнать! Это же очевидно!

Я не косил под дурачка. Кое-какое представление о том, как обстоят дела с арабами во Франции, у меня было: о войне, которую французы развязали с алжирцами, сразу как закончили воевать с нами; о хлынувших из Алжира во Францию «черноногих», таких же беженцах, как и мы; о напряжении, которое всегда сохраняется после такого принудительного расставания. Но я никогда раньше не видел араба и прожил здесь не так долго, чтобы свыкнуться с различиями внутри французского общества. Постороннему человеку различия в другом обществе всегда кажутся странными, именно поэтому французы хорошо понимали всю абсурдность американского расизма и ЧЕРНОЙ угрозы, а для американцев так был попросту устроен мир. Но для меня здесь, во Франции, АРАБ был понятием абстрактным. Желая подразнить Лё Ков Боя, я показал на прохожего и спросил: это араб?

Нет, Камю, это француз. (По-моему, Лё Ков Бой все-таки не читал Камю, но во время этой, да и любой нашей с ним беседы он звал меня Камю, едва я начинал его раздражать, – возможно, он просто не знал других философов.) Смотри, а вот это араб.

Шедший мимо мужик был одет в белую спортивную куртку, серые тренировочные штаны и белые кроссовки. Да, теперь вижу! Похож на араба! Или на очень загорелого француза с немного курчавыми волосами. Не вижу разницы, сказал я, продолжая издеваться над Лё Ков Боем. Какие у них отличительные признаки?

Признаки? Лё Ков Бой наморщил лоб – верная примета, что скрывающийся за ним механизм включился в работу. Ну это... короче... просто видно, и все, понял? По волосам видно, по коже, по тому, как они ходят и говорят. Ты тут недавно, еще не научился эти признаки отличать. Просто поверь мне на слово. Ты для полиции всегда будешь безобидным иностранцем, главное – чтобы ты был один. Если вас двое, ну это еще туда-сюда. Если вас, или нас, трое, французы немного напрягаются. О том, чтобы собраться вчетвером, даже не думай. Это уже считается за вторжение.

Я и так уже был не один, а сам с собой, а значит, мог оказаться слишком заметным. И чтобы получше спрятаться под маской невинного, безобидного азиата, я повесил на шею позаимствованную у тетки фотокамеру. Нацепил задом наперед рюкзачок: лямки на спине, сам рюкзак прижат к груди. Добавьте к этому федору, очки в роговой оправе, в которых я казался узкоглазым, хотя глаза у меня совсем не были узкими (по крайней мере, на мой взгляд), и заложенный под верхнюю губу комочек ваты, чтобы создать иллюзию, будто у меня плохо с зубами, – и маскировка готова. Я теперь был не просто безобидным одомашненным азиатом, а совершенно безобидным и примерным японским туристом. Сменив маску захватчика, нацеленного отобрать у французов рабочие места, на маску невинного туриста, который только и хочет, что нащелкать побольше фотографий, я мог идти куда вздумается.

Скажу честно, я считал себя очень умным. Но я не думал, что Бон окажется умнее меня. Исправительный лагерь изменил и его, и до меня это дошло, когда однажды вечером он подзвал меня к столику в пустом, как водится, ресторане и сказал: есть у меня одна идея.

У тебя есть идея? – переспросил я.

У Бона не было идей, они все были у меня.

Бон уставился на меня.

Тут кругом одни коммунисты. В нашем кругу.

Это ты про мою тетку?

Она не из нашего круга. Она офранцузилась.

Как и многие наши соотечественники.

Они не то чтобы любят держаться вместе, да ведь? Но я знаю, где мы можем их найти и кое-что разведать, – во Вьетнамском Союзе.

Я слышал об этом Союзе. В ресторане валялись мимеографические рекламки всевозможных мероприятий, которые он устраивал: курсы по изучению вьетнамского языка, дни вьетнамской культуры, собрание в защиту интересов вьетнамского сообщества во Франции. Во Вьетнаме словом «вьетнамский» не пользовались так часто, как в Союзе, который официально назывался Союзом по распространению вьетнамской культуры. Думаешь, в Союзе все коммунисты? – спросил я.

Официально – нет. Но все знают, что там одни коммуняки. Вьетнамское правительство их признало. Вьетнамский посол ходит на их мероприятия. А если они выглядят как коммуняки, пахнут как коммуняки, значит, они коммуняки и есть. С одной стороны, это проблема, но с другой – это наш шанс. Любая проблема – это новый шанс.

Какой еще шанс?

Шанс – это ты. Мы с тобой и денег заработаем, и коммуняк подсадим на то, чем ты торгуешь для Шефа. Красиво я придумал?

Это был план. Но Бон не умел планировать, он умел только действовать. Тебе Шеф подкинул эту идею?

Нет, но Шеф считает, что идея классная.

Ты ходил к Шефу? – спросил я. А тебе-то от этого какая выгода?

Я пойду с тобой. Может, повезет и я прикончу пару-другую коммунистов.

То есть нам с тобой надо будет притворяться коммунистами?

Если уж я смогу, то и ты сможешь, ответил он. Раньше у него так горели глаза, когда он смотрел на жену и сына, а после их смерти – только когда рассказывал, как будет убивать коммунистов. Теперь и ты сможешь коммунякам подгадить, сказал он. Еще спасибо мне скажешь.

Спасибо, сказал я.

Неужели наша война никогда не кончится? Для Бона, похоже, никогда – пока он сам не умрет или физически не сможет больше выполнять свою миссию по уничтожению всех коммунистов в мире. Как и многим, мир виделся Бону в режиме «или – или», ты или коммунист, или против коммунистов, или плохой, или хороший. Его видение мира было зеркальным отражением того, как воспринимали мир коммунисты, а вот мне казалось, что, когда тебя заставляют выбирать между коммунистами и их противниками, выбор этот – надуманный, навязанный нам Идеологическими Государственными Аппаратами и той и другой стороны. Когда тебя заставляют делать выбор из двух надуманных вариантов, труднее всего представить себе третий вариант, который от тебя скрыли – может, умышленно, а может, и нет. Это и есть основной урок диалектики: взаимодействие между тезисом и антитезисом порождает синтез. И не важно, что тут тезис, а что антитезис, коммунизм или антикоммунизм, главное, они были полярными противоположностями того, что Запад без всякой иронии называл холодной войной между США и СССР. Однако синтез заставлял признать, что на этой войне здорово погорели и мы, азиаты, и африканцы, и латиноамериканцы. Я видел недостатки и коммунизма, и антикоммунизма, и поэтому что мне оставалось – да ничего, синтез, которого не могли понять ни капиталисты, ни коммунисты. Ты скажешь, что я нигилист, и здорово ошибешься. Для нигилистов жизнь не имеет смысла, и поэтому они отрицают любые религиозные и моральные принципы,

ну а я по-прежнему верил в сам принцип революции. Еще я верил, что ничего значит многое, короче говоря, что ничего – это на самом деле что-то с чем-то. Чем не революция?

В таком вот настроении две недели спустя я отправился вместе с Боном на собрание Союза, с виду состоявшего сплошь из порядочных вьетнамцев. В отличие от США, во Франции порядочными людьми могли быть и коммунисты, и им сочувствующие, и непривычно, конечно, было думать, что на собрании будет кто-то из них. Целью этого конкретного собрания была организация праздника Тет³, пояснил нам с Боном, единственным новичкам, председатель Тет-комитета.

На празднике будут народные песни и танцы, сказал бодряк-председатель. По профессии он был окулистом – худощавый седовласый мужчина с длинными пальцами, которые куда большегодились бы пианисту или гинекологу. И по-французски, и по-вьетнамски он говорил безупречно, и чтобы заглушить зависть, я принялся жалеть его за то, что твидовый пиджак был ему как минимум на размер велик – большие пальцы еле выглядывали из рукавов. Председатель, видимо, не разделял моего убеждения, что каждому надо найти своего портного, человека не менее важного, чем священник, потому что толку-то – вести себя хорошо и при этом плохо выглядеть.

Еще у нас будут традиционные наряды и блюда традиционной кухни, продолжал он. Так мы покажем всем настоящую вьетнамскую культуру.

Я одобрително – и весьма энергично, кстати, – закивал и сказал, что очень важно познакомить людей с нашей настоящей культурой, и бодряк-председатель еще энергичнее закивал в ответ.

Вслух я, конечно, этого не сказал, но подумал, что, наверное, к настоящей вьетнамской культуре стоит отнести еще и азартные игры, к которым мы приучаем детей во время праздника Тет, а потом удивляемся, отчего во Вьетнаме так много игроков; а еще курение и посиделки в кофейнях – будь они олимпийской дисциплиной, вьетнамские мужчины были бы претендентами на золото, потому что эти унаследованные от французов кофейни стали для нас вторым домом, где мы прятались от сварливых жен и приставучих детей; а еще – распивание пива, коньяка и вина (желательно местного, рисового), после чего мы в состоянии нестояния доползали домой, где, случалось, поколачивали вышеупомянутых жен и детей; а еще – умение хорошо нажиться за счет покупателей, продавцов или собственных принципов, чтобы потом рвать и метать, когда точно так же обманывали нас; а еще – распускание сплетен о друзьях и родных, которым мы перемывали кости чаще, чем пересчитывали кости врагам, которые, кстати, могли и сдачи дать; а еще – гордость за достижения наших соседей и соотечественников, пока они, конечно, не достигали слишком многого, после чего мы начинали их ненавидеть и ждали удобного случая, чтобы злорадно порадоваться их неудачам; а еще – отношение к женщинам, которых мы ссылали на кухню и заставляли прислуживать мужчинам и рожать по шесть-семь раз, а то и больше, пока их матки не иссыхали до состояния Сахары, – все эти культурные обычаи мы соблюдали куда чаще, чем танцевали с веером, распевали оперные арии или народные песни, носили шелковые халаты или совершали брачные ритуалы посреди рисовых полей, что и случалось-то раз в жизни, если вообще случалось, да и тогда приходилось, наверное, еще отскрести с ног буйволиный помет и отмахиваться от эскадронов пикирующих комаров.

Но я подумал, что невежливо поднимать такие вопросы, когда и председатель, и весь комитет только и хотели, что сохранить красоту нашей культуры и поделиться ей с другими, даже если инсценировка культуры свидетельствовала о ее неполноценности. Истинная мощь не нуждается в представлениях, ее культура и без того уже повсюду. Вот американцы, например, отлично знают, что их культура уже разлетелась по всему миру – и бургеры, и бомбы. Французы

³ Вьетнамский Новый год по лунно-солнечному календарю.

же экспортировали Парижскую Мечту – уличное шоу для туристов, которые с ума сходили по вину, сыру и аккордеонным мелодиям. Промолчал и об этом, я в конце собрания записался в группу песен и танцев, прикинув, что именно там и соберется балующаяся гашишем богема. Я и Бона записал на песни и танцы, хотя он совсем не был похож на танцора и уж точно не мог быть певцом после того, как я объяснил всем, что он немой. Это тоже была идея Бона.

Ah bon? – переспросил председатель. Я это выражение обожал даже больше, чем *oh là là*.

Его на войне ранило, сказал я срывающимся голосом. Для этой выдумки я не припас никаких эмоций – откуда же они взялись?

Все притихли, внимание членов Тет-комитета теперь было обращено на нас.

Почему он онемел, никто не знает, сказал я, и на глаза у меня снова навернулись слезы. Бон не сводил с меня глаз, пока я на ходу выдумывал его историю. Б-52 сбросил бомбу, почти прямо на нас. И после этого он потерял голос. Может, из-за взрыва у него что-то в горле повредилось. А может, это что-то психологическое.

Я зарыдал. Я попался на удочку собственной выдумки, а они попались на мою. Я видел это – по их глазам, по раскрытым ртам, по тому, как они сообща затаили дыхание.

Видите ли, эта бомбардировка застала нас врасплох. Бомбить должны были не нас. Бомбить должны были партизан. Но американцы сбросили бомбы на нас, на своих друзей, продолжал я. Бон дернулся, но промолчал. Американцы мокрого места не оставили от целого батальона южных солдат. Американцы сказали, это, мол, «дружественный огонь». Как по мне, это был самый обыкновенный огонь. Сначала были слышны только взрывы, а затем – крики выживших. Но выживших было немного. Столько голосов навсегда умолкли... может, и мой друг потерял дар речи при одной мысли о трагической гибели наших молодых товарищей.

Господи боже, сказала какая-то матрона, прижав ладонь ко рту.

Теперь историю Бона надо было заполировать.

Я думал... Я думал... что красота нашей культуры заставит его позабыть об ужасах войны. Я надеялся... надеялся, что... если он увидит, как наши соотечественники поют и танцуют, даже если он сам не может ни петь, ни танцевать... Я опустил голову и замочил ноги в соленых водах эмоций – то, может быть, к нему вернется дар речи... и мы, бывшие солдаты с юга, сможем подружиться с вами, среди которых, как мне сказали, много тех, кто сочувствует нашим бывшим врагам. Но мы ведь больше не враги. Нам пора стать друзьями. Разве нет?

Если я больной ублюдок, то Бон – везучий ублюдок, потому что, стоило закончиться моей истории и всему собранию, как Бона окружили девушки и женщины – каждая надеялась, что именно она окажется принцессой, которая вернет герою голос при помощи поцелуя (и не только, если понадобится). Бон был рад, что выдал себя за него, потому что больше всего на свете он боялся разговаривать с женщинами, даже убийства не считались, ведь для него они были задачей скорее технического толка и только изредка – этического. Как человек с высокими моральными принципами, он записался в церковный хор в Сайгоне, потому что был верующим и потому что надеялся встретить там свою будущую жену – и, кстати, встретил. Он и его будущая жена сидели рядом в автобусе, который вез их в священное для католиков место – храм Лавангской Богоматери, это было еще до того, как его во время войны разнесло перекрестным огнем. Она споткнулась, выходя из автобуса, уж не знаю, случайно или нарочно, и он ухватил ее за локоть. Линь больше ничего и не надо было, чтобы завязать разговор, который длился до тех самых пор, пока не оборвался на взлетной полосе Сайгонского аэропорта, где она умерла, не успев сказать ему «прощай». Ее мертвое лицо – как и мертвое лицо их сына Дыка, совсем еще малыша, – до сих пор стояло у него перед глазами. После их смерти он даже думать не смел о других женщинах, а тем более, в редких случаях, – заговаривать с женщинами, которые ему нравились. Тоску и одиночество он считал достойным уделом выжившего.

Бедняга Бон! Да плевать я хотел, что он убийца. Он был мне кровным братом и лучшим другом, и я очень огорчился из-за того, что после смерти жены и сына – моего крестника! –

его больше некому любить, кроме меня, а это ужас какая незавидная участь. Поэтому теперь, когда его окружило с полдесятка женщин, которые глядели на него как на лежащего в колыбели младенца, Бон по-настоящему потерял дар речи. Он только и мог, что улыбаться, кивать и пожимать плечами, и эта немая пантомима его полностью устраивала. С помощью немоты он как бы отгородился от мира – тем хуже, конечно, для мира, который жаждал с ним поговорить. Но стоило всем понять, что с человеком, который не может или не хочет ничего им ответить, особо не поговоришь, как женщины стали перетекать ко мне, к тому, кто выгадает от немоты Бона еще больше, чем сам Бон.

Но не все женщины смотрели на меня. Одна, по-прежнему повернувшись к Бону, писала что-то в блокноте, сжимая авторучку тонкой, изящнейшей рукой. Подняв голову и увидев, что он смотрит на нее, она улыбнулась и молча протянула ему ручку и блокнот.

Меня зовут Лоан, написала она, как будто он был не только немым, но и глухим. Хочешь прийти к нам на репетицию?

Неожиданно для самого себя Бон написал: *да*.

Не знаю, кто из нас вышел с собрания в большем удивлении – Бон или я. Бон держал листок, на котором были написаны имя Лоан, ее номер телефона и дата, время и место следующей репетиции певцов и танцоров. Я как раз собирался спросить, готов ли он уже убить кого-нибудь из наших новых замечательных друзей, хотя бы, например, председателя, казавшегося мне вполне коммунистом, когда Бон, которому еще полагалось быть немым, сказал: *смотри!*

К счастью, в фойе Союза кроме нас никого не было. Бон ткнул пальцем в доску объявлений, к которой был пришпилен большой пестрый плакат с кричащими надписями, среди которых сильнее всего выделялось слово ФАНТАЗИЯ. За ним шли два других важных слова – СЕДЬМОЙ ВЫПУСК. На плакате теснились певцы и танцоры: и женщины, и мужчины, и поодиночке, и парами, и в квартетах, и в трио. Кто в костюмах и галстуках, а кто в блестящих и спандексе, кто в скромных аозаях и конусообразных шляпах, а кто – в бюстгальтерах и чулках в сеточку. До меня сразу дошло, что «Фантазия» родом из одноименного ночного клуба в Лос-Анджелесе, где я в свое время проводил целые ночи, купаясь в коньяке и тестостероне и пуская слюни при виде единственной женщины, от которой мне следовало держать и глаза, и руки, и мысли подальше, – Ланы.

Ах, Лана, Лана! Когда Генерал узнал о нашем с ней романе, то отправил меня на верную смерть, поручив мне отвоевать нашу страну, из-за этого-то поручения я и угодил сначала в плен, а потом в исправительный лагерь. Но лагерь, похоже, меня не исправил, потому что, едва я увидел Лану, как лужица страсти, до того вяло плескавшаяся в моем бензобаке, вспыхнула с новой силой. На плакате она, звезда шоу, позировала одна в еле державшемся на ней блудливо-игривом черном платье, которое доходило ей до пят, однако его скромность с лихвой окупал разрез на подоле, оканчивавшийся в районе тазовых костей и обнажавший умопомрачительную ногу во всей ее неприкрытой красе, ногу, впряженную в туфлю на пятнадцатисантиметровой шпильке – ортопедический испанский сапожок и потенциальное орудие убийства.

Даже не думай, сказал Бон, но я уже думал.

Если этот новый выпуск «Фантазии» был седьмым, значит, ему предшествовали шесть других, и все они записаны на то, что называлось «видеокассетой», – мир узнал об этой технологии, пока я находился в исправительном средневековье. Приборы, на которых можно было смотреть видеокассеты, стоили дорого, но даже если денег от продажи товара у меня оставалось всего ничего, все равно раньше у меня и того не было. Думай я головой, положил бы деньги в банк и стал бы еще большим капиталистом, делая деньги из денег. Но когда это я думал головой?

Тетка уже давно купила себе маленький японский телевизор, подключить к нему видеомагнитофон оказалось минутным делом. Я позвонил Бону и сказал, чтобы приходил посмотреть.

Она коммунистка, ответил он.

Ты хотя бы вечер об этом не думай, попросил я. Ты ведь уже ночевал тут. Ничего, не умер. И ее не убил. Она гражданское лицо. А ты гражданских особо не убиваешь, правда?

Тишина на линии означала, что Бон думает. Я ее не убью. Я просто не хочу идти к ней домой.

И почему я так хотел затащить Бона домой к тетке? Потому что я чувствовал, что он меняется, и хотел изменить его еще больше. Вопреки всему внутри у него что-то сдвинулось с мертвой точки. Он по-прежнему был безжалостным и идейным человеком, но еще он хотел встретиться с Лоан. Он признавал, что ему одиноко. Может, я и хотел сдвинуть его, пусть и самую малость, с этой его фанатичной антикоммунистической позиции, чтобы он не убил меня, узнав о моем коммунистическом прошлом. Но я думал не только о себе, я еще хотел, чтобы ему было не так одиноко. Чтобы он снова обрел семью.

«Фантазию» нужно видеть своими глазами. И со своими соотечественниками. Потому что это наше шоу – о нас и для нас. Мы там и звезды, и ведущие, и певцы, и танцоры, актеры и комики, артисты и зрители! Мы делаем то, что нам лучше всего удастся, – поем, танцуем и развлекаемся!

Бон дышал в трубку.

Ладно, сказал я, ты не умеешь ни петь, ни танцевать. Но ты любишь смотреть, как другие поют и танцуют, я же знаю. Мы же в Сайгоне все время ходили по клубам. Тогда нам казалось, что нас всегда будут развлекать люди с такими же, как у нас, лицами и на таком же, как у нас, языке, что иначе и быть не может. И вот нам выпал еще один шанс! Бон, ну давай!

Когда он наконец согласился, я понял, что одиночество в нем сильнее ненависти. Он пришел с бутылкой вина – правда, вина дешевого. Но соблюдение светских условностей говорило о том, что со времен исправительного лагеря многое изменилось. Они с теткой ни словом не обмолвились об их прошлой, неловкой встрече и уселись на диван, заключив, не без помощи «Фантазии», молчаливое перемирие.

На пленке была запись выступления в Лос-Анджелесе, этом теновом Голливуде, куда устремлялись наши соотечественники, чтобы стать звездами. Насколько это было офигенное представление, становилось понятно, как только камера наезжала на публику и показывала восторженные, улыбающиеся лица зрителей, которые с огромным наслаждением глядели, как наши южане делают то, в чем они мастера: выставляют себя на посмешище. Размышления об идеологии, политике, науке и поэзии были делом уроженцев севера, где родился и я. Жители юга, где я вырос, казались им развращенными и безнравственными. Может, так оно и было, но если северяне могли нам предложить только Утопию, которую не найдешь на карте, то южане создали Фантазию, куда можно было попасть из любого телевизора, страну грез, где мужчины бесстрашно носили пайетки, а женщины бесстрашно носили... всего ничего. Эти мужчины и женщины танцевали ча-ча-ча, танго и румбу. Они пели классические песни и перепевали западные поп-хиты. Они ставили новые оригинальные номера, которых я раньше не видел. Разыгрывали пошлые комедийные скетчи. Публике особенно нравилось, когда мужчины переодевались женщинами, вечно одергивали юбки, жаловались, что из-за волосатых ног у них все колготки в стрелках, уталкивали в лифчики груди нечеловеческого, американского размера и вертели задами, сделанными из такого количества ваты, что ими хоть сейчас можно было защищать игроков в американский футбол. Ох как мы ржали, глядя на эти сценки! Мы – и публика на пленке, и мы с Боном, теткой и мной. Ох, «Фантазия»!

То был наш Голливуд, но (с голливудскими фильмами такое тоже часто случается) конец шоу подкачал. Во время последнего номера на сцену вышла вся труппа певцов и танцоров –

мужчины в уважаемых западных костюмах, женщины в восточных аозаях – и исполнила песню, название которой, «Спасибо тебе, Америка!», говорило само за себя. Были там и другие, тоже не слишком выдающиеся, строки:

Спасибо тебе, Германия!
Спасибо тебе, Австралия!
Спасибо тебе, Канада!
Спасибо тебе, Франция!

Урок географии все продолжался, и я с удивлением думал, что же это за кучка заблудших душ, которая, закружившись в смерче войны, попала, скажем, в Израиль, страну, несомненно, прекрасную, но где таким людям, как мы, будет точно очень невесело. Однако куда бы ни забросила нас судьба, мы явно сумели найти в себе хотя бы каплю признательности за то, что кто-то пустил нас к себе пожить, которая вылилась в сердечную благодарственную балладу, посвященную всем приютившим нас странам.

Для вьетнамца это, конечно, очень странно, но сердечные, благодарственные баллады я на дух не выносил. Моя тетка, будучи интеллектуалкой, тем более французской интеллектуалкой, тоже их терпеть не могла. Бон, убийца, должен был их ненавидеть, ну или, по крайней мере, быть к ним равнодушным, но я с удивлением увидел, что он плачет, ну то есть плачет, как умеет, похлупывая носом и пустив пару слезинок, что для нормального человека было равносильно нервному срыву.

Но ты ведь считаешь, что Америка нас предала, сказал я, когда поползли титры.

Это не значит, что нас все предали.

Ты считаешь, что Франция разграбила нашу страну.

Ну почему ты всегда все портишь? – крикнул он. Просто послушай хорошую песню, и все!

И тут до меня дошло, что он плачет не из-за вечной слезливой благодарности, которой принимающие страны требовали от беженцев из стран, разбомбленных и разграбленных принимающими же странами. Он плакал из-за сюжета этой песни, которую исполнял симпатичный дуэт, изображавший мужа и жену, разлученных войной: жена с детьми бежала в Америку, муж попал в плен и остался на родине. В конце концов он тоже сумел бежать из страны на лодке – впрочем, нет, не на лодке, а на «корабле», есть для нее благородное имя, ведь его странствия и странствия тысяч беженцев восходят к величайшему морскому странствию всех времен, которое пришлось проделать гомеровскому Одиссею. Пережив эту одиссею, герой добрался до Америки. Здесь он воссоединился с женой, одетой в стильную мини-юбку, и со своими миленькими и одаренными детьми, мальчиком и девочкой, наяривавшими на пианино и на скрипке соответственно, пока родители обнимались. Из-за этого Бон и расчувствовался, он вспомнил покойную жену и сына, моего крестника, с которыми он уже никогда не воссоединится, разве что на небесах.

Мы же с теткой, хоть и были утонченными критиками, но на выступления соотечественников глядели с радостью, и нам было все равно, пляшут ли они в трико или разгуливают в коротких юбках. Впервые с тех самых пор, когда мы еще жили на родине, мы были звездами своего собственного шоу. Несмотря на всю свою фривольность, «Фантазия» была действием политическим, об этом я узнал, когда, перевоспитавшись, приехал в Хошимин – Сайгон, переименованный в честь новой эры. Там выяснилось, что революционные племяши дядюшки Хо считали все эти песни и танцы, и вообще весь этот секс, опасными пережитками прошлого. Приличные коммунисты слушали кроваво-красную музыку, славившую кровавую революцию,

а мы, любители желтой музыки⁴, были жалкими трусами, которые отказывались признавать классовую борьбу и труд в поте лица. Но отчего-то, несмотря на все мое перевоспитание, а может, и благодаря ему, я по-прежнему любил хорошую песню про любовь, а вот от красных славословий массам, маршировавшим навстречу победоносной алой заре, у меня только ноги подкашивались.

Может быть, «Фантазия» и была самой обычной развлекаловкой, но что с того? Как сказала анархистка Эмма Гольдман: «Сдалась мне ваша революция, если на ней и потанцевать нельзя». Так отчего наши очень, очень серьезные революционные лидеры никак не поймут, что умение развлекать народ тоже относится к числу революционных! Что не так с развлечениями-то, ведь если подумать, то в списке человеческих приоритетов они, наверное, на четвертом месте после еды, крыши над головой и секса? Мне не терпелось скорее посмотреть второй выпуск «Фантазии», но едва я открыл рот, как Бон, наконец кончивший утирать слезы, сказал: у меня есть еще одна идея.

Еще одна? – спросила тетка. А другая была какая?

Я думал, что Бон ничего ей не ответит, но он улыбнулся и сказал: продавать гашиш в Союзе и убивать коммунистов.

Тетка вскинула бровь. Интересно, сказала она. А знаешь, во Франции именно коммунисты больше всех поддерживают вьетнамцев.

Не тех вьетнамцев, кого надо поддерживать.

Ты не поверишь, но коммунистом может оказаться кто угодно, сказала тетка, глядя на меня, поэтому Бон посмотрел на меня тоже. Я похолодел.

Я чему хочешь поверю, сказал Бон. Везде одни коммунисты.

Тут ты прав, сказала тетка. А вот чисто теоретически, что будет, если твой друг окажется коммунистом? Например, твой самый лучший друг? Твой кровный брат?

Этот сценарий показался Бону настолько невозможным, что он захохотал, но, будучи хорошим философом, подыграл тетке. Я тогда, конечно, его убью, сказал он, улыбаясь мне. Это же дело принципа.

Я тоже посмеялся абсурдности этой тупой шутки и выключил телевизор. С «Фантазией» на сегодня было покончено.

⁴ Желтой в Китае и Вьетнаме называли популярную музыку, считая ее упаднической.

Глава 5

«Бог умер, Маркс умер, да и мне что-то нездоровится», – сказал какой-то остряк с набрякшими веками во время одного из теткинских салонов. Я только потом узнал, что это был драматург Эжен Ионеско, но пока так и не видел ни одной его пьесы. Это, конечно, надо исправить, хотя я, похоже, уже и так живу в его пьесе, если, конечно, правда все, что о них рассказывают. И вообще, болт, на котором держались два моих сознания, до того разболтался, что и вовсе выкрутился. Интересно, сколько людей разболтались вконец, потому что порастеряли все свои болты? Однако на это можно взглянуть и с другой стороны. Можно еще, например, забить болт на все, только, конечно, не до конца. Ведь если как следует забить болт, то и сам будешь сидеть как прибитый. Да и потом, пройдет время, и все забитые болты, на которых держится твое самочувствие, все равно как-нибудь сами выкрутятся.

Я еще не был настолько капиталистом – точнее, пардон, не продал столько наркотиков, – чтобы позволить себе ключ, который мог бы основательно подтянуть мой выкрутившийся болт, и потому с жалобой на растущую пустоту в голове пришел к единственному терапевту, какого мог себе позволить, – Сони Волкману, еще одному замечательному устройству, изобретенному капитализмом, пока я был в исправительном лагере. Раз я человек о двух сознаниях, то могу признать, что и у капитализма есть свои удачи, ведь признаю же я шарм французской культуры. Свои сознания я склеивал при помощи Волкмана, проигрывавшего кассеты размером с ладонь, на каждой стороне – по сорок пять минут музыки. Надев наушники, я плыл по Парижу на ковче-самолете, сотканном из гашиша, занавесив глаза темными очками. В отличие от подлинных и дорогих «авиаторов» Лё Ков Боя, мои были поддельными, без эмблемы *Ray-Ban* в уголке линзы. Время от времени они сползали с носа, однако я носил их и днем и ночью, на земле и под землей: на шее камера, на груди рюкзак – любопытный японский турист, у которого всегда наготове заискивающая улыбка экзота-азиата в западном краю. Меня не было слышно, а потому и не видно, и во время доставок товара или в свободное от них время я изучал Париж, место действия мюзикла, который ставили мои наушники. Пройдясь разок по районам, которыми можно было украшать свадебные торты – от Нотр-Дама до Эйфелевой башни, от Лувра до Сакре-Кёр, – я больше туда не возвращался. Мне больше нравились обшарпанные кварталы или маленькие парки, где можно было сидеть на скамеечке с моими не столь отдаленными родственниками, бомжами и алкашами, и разглядывать невинных голубей. Я все думал, кто из нас безумнее, я, тот самый больной ублюдок, или мученик Бон, который снова хотел взойти на костер великой идеи, сжечь последнюю соломинку и подышать на ладан. Мы с Бонем обезумели настолько, что теперь раз в две недели ходили на репетиции культурного представления, где благодаря нашим невеликим талантам оказались на подтанцовке, если это вообще можно было назвать танцами. Один из скетчей был посвящен деревенской жизни, и мы только и делали, что изображали, как пашем, копаем, рыхлим и вкалываем в чрезвычайно элегантной и где-то даже лиричной манере, призванной показать всю пасторальность сельского хозяйства, на котором держится наша культура, хотя я более чем уверен, что сельское хозяйство – это жесткий, потогонный способ выжить в изнурительных, адских условиях, где на культуру времени особо и не остается. Ну и пусть! Культурное представление ставило перед собой цель затмить шарм французской жизни шармом жизни вьетнамской, которая теперь казалась живущим во Франции вьетнамцам куда шарманнее, после стольких-то лет разлуки с Родиной. Им нужен был свой, особый тип ностальгии, что, кстати, отлично понимали постановщики «Фантазии». Ну и во время репетиций, как я и думал, мне подвернулась возможность сначала покурить с артистами, потом – хлопнуть с ними по рюмашке, вскользь намекнуть про товар, предложить снять пробу и потихоньку обзавестись новыми клиентами из молодых и модных, студентов и профессионалов, да еще и работяг, которым тоже надо было отдохнуть-рассла-

биться и которые с приятным удивлением обнаружили, что товар можно достать у вполне похожего на них человека. К молодым и модным втереться в доверие было немного сложнее, потому что почти все они родились во Франции и говорили по-французски быстрее меня, вворачивая в свою речь новые и клевые словечки, которых я не знал.

Что у тебя там был за друг, который преподает французский? – спросил я тетку.

Он тебе понравится, сказала она, продиктовав мне адрес. Он коммунист.

Вот так я начал ходить на утренний языковой интенсив в районе Гар-дю-Нор вместе с другими взрослыми учениками из всех уголков бывших французских колоний, не переставая при этом развозить свой товар по всему Парижу. На вырученные деньги я по совету ППЦ купил отменные оксфорды коричневой кожи от «Бруно Мальи». Они отлично выглядят, сказал ППЦ, и в них можно весь день проходить не снимая. Говоря это, он глядел на мои пыльные, растрескавшиеся туфли из кождама, которые я купил у уличного торговца, когда ехал в аэропорт Джакарты. Человека всегда судят по его обуви. Осуждение ППЦ меня взбесило, но я никак не мог выбросить его из головы. Я с гордостью носил ботинки от «Бруно Мальи» и каждую неделю начищал их до блеска, попавшись в ту самую капиталистическую ловушку, о которой предупреждал еще Маркс: я полюбил товар, предмет так, будто он был живым существом, а такие романы в лучшем случае недолговечны.

Через несколько месяцев после того, как началась эта новая глава в моей жизни, я выходил из маленького парка на проезде Дюма, и у ворот какой-то молодой человек кивнул мне, вскинул брови и поднес пальцы к губам – универсальный жест братства курильщиков, сплотившихся в своем желании умереть поскорее. Жан-Клод Бриали и Анна Карина пели мою любимую песню «Ne dis rien», и я тихонько подпевал. Я был в хорошем настроении и, улыбнувшись, вытащил из своей пачки сигарету, предварительно убедившись, что сигарета без гашиша. Он что-то сказал, и я стащил с головы наушники, продолжая молча улыбаться – я ведь японский турист, – и очень удивился, когда он, тоже заулыбавшись в ответ, сказал: говорят, у тебя потрясный гашиш?

Домо аригато, сказал я, делая вид, что ничего не понял. Продавать незнакомцам – так себе идея, поэтому я поклонился и попятился, но, сделав два шага, уткнулся в чье-то крепкое, каменное тело. Молодой человек позади меня, так же как и тот, что впереди, был одет в голубые левайсы, расстегнутую куртку и футболку, только у одного на футболке были изображены «Битлз», а у другого – «Роллинг Стоунз». Мы были одни в маленьком парке, чего явно и добились эти юноши – судя по всему, те самые арабы, о которых меня предупреждал Лё Ков Бой. Они были долговязо, беззаботно молоды, еще счастливо не ведая, как будут выглядеть через двадцать лет, – знание, которым мы, мужчины среднего возраста, к несчастью, уже обладаем. Инертность возраста и доступность таких удовольствий, как французская выпечка, помогли мне вновь обзавестись утраченным за время перевоспитания жирком, и не только – теперь у меня над ремнем брюк нависал небольшой бугорок, и еще один мягкий комочек образовался под подбородком. Я был мягкой, круглой сарделькой, плотно набитой требухой, а они – зазубренными ножами, которые вот-вот покромсают меня на куски.

Не прикидывайся японцем, сказал Битл. Мы знаем, что ты вьетнамец.

Вьетнамец? – спросил Роллинг. А я думал, ты китаец.

Вообще-то он сказал банальное *Chinois*, слово, означающее просто «китаец», но если его склонять и в хвост и в гриву и то и дело сплевывать при разговоре, оно превращается в эпитет, который я не раз слышал от наших французских колонизаторов. Мне стало грустно, что я услышал его от людей, находившихся в моей шкуре, однако я решил не отвечать на оскорбление, чтобы не усугублять ситуацию. Спасти ситуацию я решил, выразив искренний интерес к их происхождению и родословной. Я спросил: а вы кто?

Мы алжирцы, жопа ты крысиная, сказал Битл.

Роллинг нахмурился и сказал: мы масло.

Масло? – переспросил я. Если тут кто и масло, так это я – желтый, мягкий, и меня легко размазать. А почему вы масло?

Масло! – проорал Роллинг. Масло!

Битл вздохнул и сказал: хер с тобой, мы французы. А теперь гони гашиш.

Давайте-ка об этом поговорим, сказал я. Мои алжирские братья, неужели вы не читали, что Хо Ши Мин писал о французской колонизации? Нам с вами не надо драться, не надо друг друга грабить, нам надо сплотиться в борьбе с нашей злой мачехой! Забудьте про «Марсельезу», слова которой кажутся мне несколько кровавыми. Давайте споем «Интернационал»! Ну-ка, с чувством! Вставай, проклятем заклейменный! *Nous ne sommes rien, soyons tout!*⁵

Моя небольшая речь, похоже, сбила их с толку, они замерли, наморщили лбы, и, как знать, если бы хоть один из них сказал тогда, а он, ващет, дело говорит, мы с ними изменили бы ход истории – по крайней мере, моей истории, – но они были вспыльчивыми подростками, поэтому Роллинг покачал головой, отказываясь и от брошенного ему диалектического каната, и от солидарности, и сказал: гони гашиш, ты, тупой ублюдок!

Так, я хотя бы попытался, правда?

Попытался, ага, сказал Сонни.

Ну можно и так сказать, добавил упитанный майор.

Гашиш, значит, пробормотал я, притворяясь, будто расстегиваю рюкзак. Они бросились ко мне, но я успел размахнуться и со всей силы засадить рюкзаком Битлу в челюсть, которая, повстречавшись с двумя лежавшими в рюкзаке кирпичами, громко хрустнула, не загнувшись, однако, вырвавшегося у меня из самого нутра боевого клича – УБЛЮДОК! – потому что я всегда был по горло сыт этим словом, и хотя думал, что уже привык к нему, привык я только к тому, что меня зовут больным ублюдком, в чем даже была доля правды, но полная, истинная правда была вот в чем: этой парочке следовало бы назвать меня братом, кузеном, да хоть дядькой каким-нибудь, потому что мы с ними были родней – а что, нет, что ли? – нашими общими предками были галлы, те еще нахалы, назначившие нас своими потомками; алжирцы – это, значит, старшие сыновья, объяснял мой отец нашему классу, а мы, индокитайцы, – умненькие средние братья, из которых должны вырасти клерки, секретари, адъютанты и мелкие бюрократы, не чета каким-нибудь лаосцам, камбоджийцам и так далее, до самого конца этой логической пищевой цепочки, за звенья которой мы цеплялись, устремляя свои взоры наверх, к красным ягодицам обезьян, угнетенных чуть меньше нашего, и мечтая о том, как великодушная белая рука поможет нам вскарабкаться наверх, по головам всех этих недостойных созданий, и взойти на прекрасный броненосец под названием *La Mission Civilisatrice*

⁵ Кто был ничем, тот станет всем! (фр.)

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.